

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## 1

Эта история началась для меня 15 марта 2014 года, накануне референдума о статусе Крыма. В ту холодную промозглую субботу на улицах Москвы, казалось, было столько же людей, сколько и в обычный выходной день, и никто никуда не спешил, и не происходило ничего особенного. Но где-то у метро, на автобусных остановках, в уютных кафешках собирались тысячи людей — собирались, чтобы разделить потом на две части, на два больших митинга. Один должен был состояться на проспекте Сахарова — мои знакомые называли его белоленточным и говорили, что всем пришедшим на него раздают по тысяче рублей. О втором, начинавшемся рядом с метро Трубная, я знал совсем мало, но в нём собирался участвовать мой друг и сосед по съёмной квартире Андрей Вдовин, человек мрачный и суровый, а потому и митинг этот представлялся мне именно таким.

Всю прошлую неделю Андрей возвращался домой за полночь: после работы ходил на специальные занятия, где их учили маршировать и инструктировали, как себя вести. В политическое движение, организующее митинг,

он вступил недавно; первое серьёзное мероприятие ждал с нетерпением и не пропустил ни один день подготовки. Его девушка Катя, с которой они жили в соседней со мной комнате, была недовольна тем, что он каждый раз приходит домой так поздно, — сквозь тонкие стены московской хрущёвки доносились их крики и взаимные упрёки. Впрочем, на митинг меня звали оба: Андрей, чтобы приобщить к движению, а Катя, боясь остаться там наедине с чем-то непредсказуемым и опасным, всё сильнее затягивающим любимого к себе. Вчера мы договорились, что Андрей поедет на Трубную раньше — им нужно было провести генеральную репетицию, а мы с Катей подойдём к двенадцати часам, к самому началу.

Но, честно говоря, я в то утро не хотел никуда ехать и беспечно радовался свободному выходному дню. Я слышал, как за стеной проснулась Катя, как ходила она на кухню, как хлопнула дверца холодильника. Я знал Катю давно и догадывался, что она сейчас злится, что Андрея нет дома: ей хотелось, чтобы, несмотря на все дурацкие договорённости, Андрей пропустил бы митинг, сделав ей сюрприз, на который она втайне надеялась. И от этой несбывшейся наивной надежды ей было сейчас обидно. Понимая эти её мысли и чувства, я смотрел на часы и тревожно прислушивался к шагам за стеной, ожидая, что Катя всё-таки передумает идти, и я смогу с чистым сердцем тоже остаться дома.

Она вбежала ко мне в последний момент, растрёпанная, с пунцовыми от волнения щеками, ещё в домашней одежде, но уже принявшая окончательное решение, теперь владевшее ею целиком.

— Ты встал? Пойдём, пойдём скорее!

Когда она была так воодушевлена, с ней невозможно было спорить.

Через полчаса мы уже выходили из метро Трубная. В лицо ударил сильный ветер, и сначала не разобрать было, куда идти. Вдалеке, за аллеей, мы видели колонну людей в чёрных штанах и красных куртках, но вокруг всё было перегорожено. Катя попыталась пройти к колонне напрямик через прогал в железных ограждения, который перегораживало трое полицейских, но один из них махнул рукой вдоль улицы, — обходить там, поняли мы. Было странно, что нужно двигаться не к хвосту колонны, а вперёд, как бы обгоняя её, но мы не успевали думать и просто побежали. Люди, попадавшиеся на пути, шли вразнобой, не собираясь ни на какой митинг. У киоска с жареными сосисками стояли в очереди несколько человек. Женщина с двумя огромными пакетами грузно шагала навстречу. И только один сухой старичок с маленьким флажком у фонарного столба монотонно повторял вслух, но как бы ни к кому не обращаясь: “Молодцы, ребятки, за русский Крым... за русский Крым...”

Я видел, как торопится Катя, как она волнуется, оттого что остаётся уже мало времени до начала шествия. Но всякий раз, когда нам казалось, что вот именно здесь можно протиснуться и шагнуть на брусчатку, чтобы подождать оставшиеся позади шеренги, а потом влиться в них, на пути возникали те же люди в полицейской форме и так же махали рукой куда-то вдаль.

Наконец остановились на перекрёстке, до первых рядов было уже метров двести. Из-за железных ограждений, тянувшихся по всему предстоящему ей пути, колонна казалась огромной ящерицей, закованной в тонкую броню. Красно-чёрные люди в ней теснились плечом к плечу, и где-то там стоял и Андрей. Я знал, что это шествие очень важно для него, и он сильно переживает, чтобы сегодня всё прошло безошибочно, ведь в этот самый момент враг (он так часто произносил это слово — враг) обязательно наблюдает за их митингом с тревогой и ненавистью, и нельзя дать ему ни единого повода для радости. Наконец, мужчина в военной форме, маячивший во главе колонны, неразборчиво крикнул — и тогда двинулись, будто чья-то могучая ладонь толкнула их вперёд...

Сначала маршировали лихо, приближаясь к перекрёстку, а мостовая весело хлопала под их ногами. Флаги в руках людей из первых рядов натягивались так, что на них уже можно было различить буквы, золотые на красном, но ещё нельзя было прочитать название политического движения.

Наверное, всем этим людям хотелось идти быстрее, чтобы название это блеснуло в сером промозглом воздухе, чтобы его увидели все вокруг.

Приблизились, и стало заметно, что двигаются неуклюже, тягуче, то и дело разрывая строй. На перекрёстке колонна принялась перестраиваться, чтобы свернуть в узкий переулок на противоположной от нас стороне улицы. С места, где стояли мы, хорошо было видно, как тяжело даётся им это перестроение. Но вот закончили и неожиданно быстро вошли в переулок, где дома навалились на них с обеих сторон. Мы надеялись, что сейчас пройдут красные шеренги, и люди в полицейской форме откроют проход, чтобы мы и ещё несколько человек, стоявших на перекрёстке, смогли бы присоединиться к общему течению. Но тянулись лица, плакаты, транспаранты, а ограждения всё не убрали. На одном из балконов второго этажа висело большое шерстяное одеяло и раскачивалось на ветру, медленно и тревожно.

Время от времени Катя растерянно оглядывалась на меня, и я только сердился от собственного бессилия. И вот в этот момент неожиданная спасительная мысль пришла ко мне — я схватил Катю за рукав куртки и поспешно потащил вперёд, но совсем не туда, куда устремилась колонна. Я плохо разбирался в московских улицах, просто интуитивно догадывался, куда нужно идти, а Катя послушно шагала за мной. Иногда в маленьких переулках, пересекающих наш путь, мы как в длинную подзорную трубу могли видеть двигающихся по параллельной улице людей с флагами.

Вдруг оказались на краю огромной площади, окружённой домами, в которую в тот момент, как река, прорвавшая плотину, устремлялся поток митингующих. Первые ряды уже выплёскивались к подножью высокой деревянной сцены на дальнем краю площади, следующие подтягивались к ним. Нас тоже подхватило и понесло, а потом прибило людской волной к стене одного из высотных домов. Мы ещё толком не могли разобраться, куда нам нужно смотреть и что делать, как вдруг в стълном воздухе раздался хриплый голос: это был маленький человек в меховой шапке, стоявший на сцене у микрофона. Я взглянул на Катю и увидел её застывшее искажённое лицо — как же она ненавидела этот голос! Именно им говорили эти политические ролики, которые Андрей смотрел каждый вечер после работы, вместо того, чтобы посидеть с ней.

— Бандеровцы провозглашают на Украине новый фашизм, — выкрикивал человек в меховой шапке. — Насаждают его насильственно, репрессивно... Их куцый мозг мутит кровавое вино киевской преступной победы... победы над своим народом, победы над демократией... победы над исторической судьбой... Они рвутся в наш святой город, они рвутся и просачиваются в Москву. И потому здесь мы хотим сказать им... — он сделал паузу, так что пространство вокруг натянулось и стало слышно, как кто-то коротко кашлянул, где-то лязгнуло железное ограждение, ветер вздохнул во флагах. А потом сосредоточением всех этих яростных слов по площади пронеслось надрывное: В Москве майдану не бывать...

“В Москве майдану не бывать”, — повторили за человеком в меховой шапке сотни людей. Сначала — неуверенно, стесняясь своих голосов, слишком разных и нестройных. Но уже в следующее мгновение перестали сдерживаться, почувствовав знакомый напор в хриплых словах, как волки чуют запах своей стаи, и тогда вся площадь закипела: “В Москве майдану не бывать... В Москве майдану не бывать...”

А потом всё смешалось — и нестройные голоса из толпы, и российские флаги, и чьи-то лица вокруг. Рядом с нами стоял мужчина в лёгкой куртке нараспашку, а на шее у него сидела маленькая девочка и без усталости размахивала зелёными резиновыми сапожками. Трое других мужчин рядом показывали пальцами на сцену и смеялись, наклоняясь друг к другу. Женщина в белом платке держала самодельный транспарант из картона: “Здравствуй, Севастополь”. Мы попытались протиснуться мимо этих людей вперёд, туда, где стояли первые шеренги, но человеческое море поддавалось медленно — необходимо было поймать попутное течение, чтобы легко преодолеть несколько метров, а потом опять завязнуть. Но всё-таки желанные красно-чёрные ряды постепенно приближались к нам, и всё яснее слышались их резкие

дружные выкрики, перекатывающиеся по площади, как эхо в огромном пугающем зале.

Очередным спазмом толпы нас вытолкнуло прямо на железные ограждения где-то между четвёртой и пятой шеренгами, но ещё ближе к сцене пробраться было уже невозможно. Я видел, как Катя в смятении оглядывается, безуспешно пытаясь разглядеть Андрея. И вдруг мы одновременно увидели его. Он стоял рядом с высоким широкоплечим человеком, державшим флаг, всего лишь в нескольких метрах от нас, напряжённо глядя на того, кто выступал на сцене. Катя изо всех сил замахала ему ладошкой, но Андрей не заметил. И я понял, как обидно ей стало, оттого что вот она, столько преодолела, чтобы добраться сюда, а ему всё равно, и он совершенно не волнуется о ней. Тогда, проникнувшись общим ожесточением, Катя резко повернулась к человеку на сцене и встала прямо, не сводя с него горячий гневный взгляд. И от вспыхнувшей внутри ярости ей стало, наверно, даже легче: теперь она больше не чувствовала себя чужой здесь — она знала, кто этот человек, к чему он призывает, знала, как ей относиться к нему и ко всему, что происходит вокруг.

— Мы любим братскую Украину... Мы любим её всем сердцем, это наши братья, и мы обращаемся к ним: слушайте, — с особым наслаждением выговаривал каждый слог хриплый голос, — не верьте тем, кто говорит, что здесь царит ненависть к вам... мы любим вас как братья... — “Мы любим вас как братья, мы любим вас как братья”, — как заклинание, повторяли стройные ряды.

— Выстроились, — вдруг произнёс гортанный голос откуда-то сзади.

— До первого коктейля Молотова, — усмехнулся другой.

Это говорили два молоденьких парня, один из которых держал в поднятой руке фотоаппарат и снимал митингующих. Катя порывисто обернулась — кинуться на них, расцарапать эти румяные молоденькие лица. И уже не понять было, против ли она человека в меховой шапке, или против этих парней, скорее, против всех людей на этой враждебной площади...

Было пасмурно, затянул мелкий противный дождь. Капельки падали на железный прут ограждения, разбиваясь, а Катя зачем-то всякий раз дотрагивалась пальцами до того места, куда попала капля. Я подумал, что зря не надел шерстяные носки. А потом увидел, что и Катя замёрзла, и осторожно сказал ей: “Пойдём, посидим немного в кафешке, погреешься”. Она кивнула, но потом добавила: “Давай ещё немного побудем...” Я вздохнул от этого её упрямства и продолжал переступать с ноги на ногу, стараясь прогнать стылый воздух из ботинок.

Иногда оратор уходил со сцены на несколько минут, и включали старые советские песни, в основном военные, как на демонстрациях из далёкого прошлого. И тогда во всём митинге появлялось что-то деловитое и праздничное. После этих песен даже новые оглушительные слова про нацистскую сволочь и победу русского мира звучали мягче, а в голосе человека в меховой шапке не было прежнего безумного ожесточения. И привычно и буднично отвечали ему из толпы. Я не мог согласиться с его резкими словами, но мне приятно было, что есть этот человек, и эти сомкнутые ряды, и было спокойнее, что среди всех этих людей, так грубо воспринимающих действительность, я могу чувствовать тонко, но в то же время быть защищённым.

Когда объявили, что митинг окончен, стройные ряды заколыхались взволнованно, словно нарушился внутренний порядок, словно они совсем не репетировали, как будут покидать площадь. И высокому крепкому военному, ходившему вдоль рядов, приходилось несколько раз выкрикивать так, что слышно было даже в толпе: “Флаги передаём направо”.

— Ты иди домой, если хочешь, а я ещё подожду Андрея, — сказала мне Катя.

Я кивнул, опять почувствовав, что с ней сейчас бесполезно спорить. Двинулся сквозь толпу, всё ещё неподвижную, не желающую расходиться. А перед тем, как спуститься в подземный переход, обернулся и не смог различить Катину фигурку посреди огромной площади.

Когда я оказался в переходе, то опять увидел вокруг множество людей, и мне даже показалось, что это всё те же люди, которые были сейчас на

митинге, только теперь они уже не думают ни о России, ни об Украине, а просто торопятся по своим делам. Я вошёл в метро, и они вместе со мной — миновали турникеты, встали на эскалатор. Я ехал и вслушивался в разговоры, обрывочные фразы, пытаясь понять, что же на самом деле волнует их, чего же они все хотят, но почти ничего разобрать не мог. Впечатление от митинга ещё теплилось во мне — но чем дальше я удалялся от площади, тем отчётливее ощущал, что этих последних часов, может, и не было вовсе, а чёрно-красные ряды, транспаранты, вдохновенный оратор на сцене по странной случайности привиделись мне в воображении.

## 2

Мы жили вчетвером в маленькой квартирке в Ховрино, снимая её почти даром у нашего общего знакомого, уехавшего на стажировку в Европу. В одной комнате — я и ещё один парень, а в другой Андрей с Катей. Они были не самыми удобными соседями, но я хорошо относился к ним, и особенно к Кате, так что всеми силами старался привыкнуть к их частым и громким ссорам.

Квартира была старая, в ней постоянно ломались то замок от двери, то кран в ванной; тоненькие дощечки выскакивали из паркета и, попадая под ноги, весело и шумно разлетались по коридору. На звук из комнаты стремительно вбегал Маркиз, Катин кот, и в упоении кидался на первого человека, которого видел. Если это была сама Катя, она тотчас же брала его на руки и принималась настойчиво гладить. Мы с Андреем обычно просто стряхивали кота на пол, а Рома, четвёртый сосед, ещё и тихо ругался при этом.

Я спокойно относился к неудобной обстановке квартиры. Мне нравилось, что балкон в нашей комнате не застеклён, а на его перилах часто собираются голуби, нравилось, что подоконники находятся на уровне колен, и потому можно стоять у окна, испытывая лёгкое головокружение от взгляда вниз. Но остальные, кажется, постоянно были чем-то недовольны. По вечерам, когда возвращались с работы, ходили усталые и мрачные. А Рома с Андреем вообще не разговаривали: они конфликтовали с первых же дней жизни здесь, но ни тот, ни другой не хотели съезжать, в основном из упрямства, а ещё оттого, что обоим было удобно добираться до работы.

Рома был мне понятнее — с ним мы вместе учились в институте и относились друг к другу с той крепкой мужской привязанностью, которой уже не нужны ни какие-то особенные откровения, ни даже частые встречи. После института Рома два года жил у себя на родине в Житомире, и мы почти не общались в то время. А вот теперь, когда он вернулся работать в Москву, легко сошлись опять. Нам обоим было комфортно и просто вместе — мы легко разрешали любые противоречия, потому что оба не привыкли ни обижаться, ни отстаивать свои интересы в отношениях с близкими друзьями.

С Андреем было сложнее. Мы познакомились меньше года назад, а жили в одной квартире всего несколько месяцев. Я знал, что остальные наши друзья, и, конечно же, Рома, относятся к нему настороженно, и из-за этой его политической деятельности и потому, что он был парнем Кати, которая с давних пор считалась душой нашей мужской компании. Но мне Андрей всегда был симпатичен. Мне нравились его твёрдость и принципиальность, и уязвимость слишком прямого человека, и даже та резкость, которая отталкивала многих. Он был для меня загадкой, которую хотелось разгадать.

В тот вечер после митинга у нас собирались гости — Катя хотела отпраздновать восьмое марта, потому что на прошлых выходных у неё не получилось. Квартира наполнилась движением, разговорами, смехом, а Маркиз, обезумевший от всеобщего оживления, носился по коридору из одной комнаты в другую. “Уу, куда пошёл”, — грубо хватал его один из гостей, Борис, коренастый спортивный парень, наш давний друг. “Не пугайте Маркиза!” — тут же пронзительно кричала Катя из кухни, а мы с Ромой только смеялись над тем, как кот неловко пытается вырваться из Бориных крепких рук.

На кухне сидели подруги Кати по университету и с весёлым любопытством наблюдали, как она печёт свои любимые блинчики с кленовым сиропом.

Обычно Катя почти не готовила, они с Андреем питались полуфабрикатами, но сегодня атмосфера праздника вдохновляла её — она бралась за всё: за блинчики, за яблочный пирог, за итальянскую пасту. И только когда неловко принялась разделять мёрзлый кусок говядины, всё норотивший выскользнуть из рук, Андрей, до того стоявший посреди кухни, не зная, чем себя занять, решительно отстранил её от стола.

— Так, с мясом я сам... мясо женской руки не любит, — и Катя с радостью отступила.

— Ну, как у вас дела? — настойчиво расспрашивала она подруг, а когда те смущённо пожимали плечами, начинала рассказывать сама. Ей ужасно хотелось весёлого интересного разговора, неожиданных новостей, ярких впечатлений.

— А мы вчера с Андреем ходили в церковь на службу, — вспомнила она.

— Ну, вообще-то не на службу, — спокойно возразил Андрей, — а чтобы раздать анкеты.

— Да, но мы ещё не знаем, будут ли их распространять! Нужно ещё прийти через неделю, вдруг священник не даст благословение...

Подруги не совсем понимали, что за анкеты и зачем их раздавать в церкви, и тогда Андрей принимал обстоятельно объяснять им:

— Я сейчас расскажу. Люди из нашего движения разработали специальные анкеты. Скажем так, в них содержатся все важные вопросы, например, отношение к ювенальной юстиции и к Украине. И теперь важно охватить этим опросом больше людей. Мы отнесли анкеты в церковь, но там нам сказали, что не могут раздавать, пока их не утвердит священник...

— Да, а ещё мы были на исповеди, — заторопилась Катя. — И Андрей тоже!

Андрей сжал губы и недовольно откашлялся.

— Скажем так, — поспешил он поправить Катю, — я не то чтобы исповедовался, я просто говорил со священником. По поводу отношения церкви к сегодняшней политической ситуации... — было видно, что они уже много раз обсуждали это, но так и не пришли к согласию, и теперь каждому хотелось показать своё.

Я стоял в дверях, прислонившись к косяку, и улыбался, глядя на них. Мне была приятна эта обстановка праздничных приготовлений: шкварканье масла на сковороде, улыбки подруг, Катина наивная решимость привести Андрея в церковь. Подруги поспешили перевести разговор, а я, взяв в обе руки по большой салатнице, пошёл в свою комнату.

— Но ты же не будешь спорить, что это майдан начал первым? — услышал я ещё в коридоре бодрый голос Бориса.

— Да, первым, — ответили ему глухо и медленно. — Но сменить власть одно, это в каждой стране бывает. А сепаратизм — недопустимо...

В нашей комнате Борис и Рома раскладывали мой письменный стол. Рома сидел под ним и тиснетно пытался пододвинуть его непослушную ножку, а Борис стоял рядом, поддерживая крышку. Я остановился, балансируя с двумя тяжёлыми салатницами в руках, ожидая, когда они закончат.

— Не скажи! — тем временем не сдавался Борис. — И то, и другое нарушение вашего закона, и тут кто начал первым, тот виноват.

— Я вообще-то был доволен, когда майдан победил. Надо было просто смириться, и всё бы закончилось...

— Ну, Рома, а работать ты ведь в Россию приехал, — наконец смог я поставить салаты и выложил тот аргумент, который давно хотел привести ему, но всё не представлялось подходящего случая.

— Я приехал, потому что здесь больше перспектив, чем в Житомире, — ответил тот, вылезая из-под крышки стола.

Он недовольно взглянул на меня, и я понял почему. Дело было совсем не в событиях на Украине — об этом мы уже давно переговорили, проблема была в соседях и в этом внезапном праздновании. Наверное, он был прав, и надо было садиться в комнате Кати и Андрея, но у нас было просторнее, и я вчера дал согласие Кате, не спросив его.

Тем временем из кухни послышался смех, и я поспешил туда за новыми блюдами и тарелками...

Гости рассаживались осторожно, опасаясь сразу шагнуть вглубь нашей комнаты. Сначала ещё открывали вино, накладывали салаты по тарелкам и старались шутить по любому поводу. Одна из подруг Кати, рыжеволосая Мила, с готовностью улыбалась каждой шутке, а маленькая серьёзная Соня коротко и весомо хвалила рецепты блюд. Но потом чокнулись, пригубили и принялись за еду, и тогда на самом деле стало тихо и неловко.

Проскользнул в комнату Маркиз, выгибаясь всем телом, стараясь показать себя во всей красе. Андрей взял его на руки.

— Смотрите, как потолстел, — воскликнула Соня.

— Не потолстел, а немножко поправился, — вступилась за кота Катя. И опять все слишком оживлённо заговорили о Маркизе, чтобы скрыть натянутость.

Я смотрел на знакомые лица, и мне вспоминались те давние времена, когда мы с Ромой и Борисом ещё учились в институте, а Катя была первокурсницей. Она тогда часто приходила к нам в комнату, и мы с Борисом оба были влюблены в неё. И теперь собрание за одним столом старых друзей должно было вернуть нам обаяние прошлых дней, беззаботных вечерних посиделок за чаем или вином в общежитии, и сам я подсознательно ждал этого, но чуда возвращения в прошлое не происходило.

— А мы сегодня ходили на митинг, — вспомнила вдруг Катя. — Было очень интересно!

Я удивлённо взглянул на неё, но потом понял — сегодня они первый раз праздновали вместе с Андреем в нашей компании, и Кате важно было, чтобы всё прошло благополучно, и завязался бы общий разговор, интересный и нам, и Андрею, пусть даже и о политике.

— Что за митинг? — любопытствовал Борис. — За всё хорошее, против всего плохого?

— За завтрашний референдум в Крыму, — недовольно вставил Андрей. Наверное, он не очень хотел рассказывать о митинге, боясь, что все воспримут важные вещи слишком беззаботно.

— А что вы думаете о событиях в Крыму? — с уважением спросила Андрея Софья, отчего-то на "вы". — Как пройдёт референдум?

— Я не социолог, — нехотя возразил он, — но скажем так, я уверен, что результаты будут однозначные.

— Кстате, представляете, — вмешалась вдруг Мила, немного запинаясь от желания тоже сказать что-то, — по телевизору, не помню, по какому каналу, передавали прогноз погоды, а после Москвы стали объявлять в Севастополе, Донецке и Харькове... Представляете, — она раскраснелась от волнения. Вообще-то мы с Борисом и Ромой хорошо её знали, она раньше часто приходила к нам с Катей, но всякий раз так сильно смущалась, как если бы видела нас впервые.

Все засмеялись, и даже Андрей воодушевился, получая в этом общем веселье поддержку себе и своим взглядам.

— Неужели? Ты не перепутала? — недоверчиво переспросил он. — Ну, это добрый знак. Пора показать этим бандеровцам нашу силу! — и вдруг сам смутился своей серьёзности и открытости перед гостями.

Рома же смотрел лукаво, как на добрых детей, которые хоть и милы в своей радости, но всё-таки не могут быть восприняты всерьёз умными людьми.

— А ты как относишься ко всем событиям? Ты ведь с Украины? Тебя не оскорбляет, что мы все так смеёмся? — предупредительно обратилась к нему Соня.

— Меня так просто не оскорбить, — ответил он ей, дескать на таких фанатиков, как Андрей, не обижаюсь.

— Если вам интересно, могу рассказать, как я ездил недавно в Васильевское, — взволнованно продолжал Андрей, не обращая внимания на Рому, но напряжённо вглядываясь в остальных, стараясь понять, точно ли кому-то интересно, стоит ли продолжать.

— Что за Васильевское? — спасла положение Соня, и Андрей раскашлялся, готовясь начать.

— Дело в том, что наш лидер Сергей Владленович Кургузов несколько лет назад купил деревообрабатывающий завод и обустроил его силами нашего движения. И теперь два раза в год там проходят наши школы. Политическое обучение. Но в этот раз у нас был в основном спорт и стрельбы.

— Стрельбы? — переспросил Борис, усмехаясь.

— Да, — ответил Андрей, замечая иронию, но не понимая, что она относится к нему лично. — Скажем так, в наше время нужно быть готовыми ко всему. Ты же понимаешь, какая сложная сейчас ситуация...

В это время Рома, шутливо пожимая плечами, кивнул Соне, дескать, видишь, что за разговорчики, невозможно их слушать, и стал осторожно выбираться из-за стола. Мила неловко поднялась, чтобы пропустить его.

— Следующая цель бандеровцев — Россия, — тем временем продолжал Андрей, он не глядел на Рому прямо, но я понимал, что именно из-за него он так раздражается — ему так хотелось сказать что-нибудь резкое, пока Рома ещё здесь. — В Киеве они только тренировались, теперь они готовятся прийти в Москву... Нам нужно научиться противостоять этому зверью, это уже не люди, а зомби!

Все молчали, отводя глаза, а я напряжённо смотрел на Андрея, и мне было почему-то жаль его. Он был совершенно инороден нашей компании, такой нескладный в своём стремлении всех наставить на путь истинный.

— В общем, если вам интересно, то приходите на собрание нашей ячейки, — выдохнул Андрей, постепенно остывая. — Они проходят каждую неделю по средам. Я скажу вам точный адрес, если хотите.

— Вряд ли, конечно, но спасибо за приглашение, — усмехнулся Борис, а Катя обожгла его взглядом.

— Давайте горячее, — заторопилась она. — Там у нас итальянская паста.

— Что же вы сделали с нашей Катенькой, она уже и готовит, — засмеялся Борис.

— Всегда готовила!

За столом началось движение, перекладывали еду, спешно доедали салаты. Катя стала собирать тарелки.

— Не надо, не надо, — остановила её Соня, — давай прямо сюда.

Катя приветливо улыбнулась ей — кажется, она была благодарна подруге и за её незаметную хозяйственность, и за то, что она поддерживала Андрея.

— Я принесу, — торопливо вмешался я в общую суматоху и вышел в коридор.

На кухне было свежо и тихо, и только негромко сопел электрический чайник. На столе лежали оставленные в спешке чашки, тёрка, деревянная доска, ножи, а у плиты в кастрюле лежал так и не приготовленный, и забытый в суматохе кусок оттаявшего мяса. Рома сидел за столом, глядя в открытую форточку. Услышав мои шаги, он повернулся и коротко кивнул. Я присел рядом, оглядываясь, а потом принялся осторожно отщипывать коротенькие соломки сыра, оставшиеся на тёрке. Было слышно, как в нашей комнате, понижая голос, говорит Соня:

— Кажется, Рома всё-таки обиделся.

— Прямо сильно? — громко переспрашивала Катя, а потом расстроено вздыхала: — Это я во всём виновата... Не надо было говорить про митинг.

— А мне всё равно, пусть слышит! — донёсся голос Андрея. — Им, украинцам, промыла мозг их пропаганда, ему полезно услышать правду.

— Андрей, тише, тише... — заторопилась Катя.

Мы с Ромой встретились глазами и едва заметно улыбнулись друг другу.

— Не надо было изначально заселяться с ними — не испортились бы отношения, — сказал Рома, но была в этих словах и едва заметная беззаботность.



— Думаешь съезжать? — осторожно спросил я.

— Ни за что. Теперь уже из принципа, — ответил он, и мы оба негромко засмеялись.

Зашла Мила и остановилась на пороге.

— Прячетесь от грома? — спросила осторожно.

Рома приветливо кивнул ей.

— Не прячемся, а выжидаем... Ладно, не очень себя чувствую. Пойду, пройдуся.

Мила с тревогой взглянула на него, но ничего не сказала.

Дождались у порога, пока Рома обуетея, старались не шуметь, чтобы нас не услышали в комнате. А когда он ушёл, ещё с минуту неловко перетапты-вались у порога. Я подумал, что всё это очень грустно, но постарался как ни в чём ни бывало спросить у Милы:

— Ну что, давай принесём пасту? — и она поспешно кивнула мне.

Когда мы вернулись в комнату, там опять было громко и напряжённо. Андрей раздавал всем по несколько листов длинной политической анкеты — у него было задание от ячейки опросить с помощью неё как можно большее количество человек, и он, видимо, решил использовать подходящий момент.

— Я не буду ничего заполнять, — капризно ворчал Борис, — сколько там вопросов? Сорок? Это вообще-то серьёзная работа, а работа должна оплачиваться.

— Не хочешь, не заполняй. Никто тебя не заставляет! — с обидой отвечала ему Катя.

— Да нет уж, давайте... интересно, что там у вас, — Борис мгновенно оттаял и принялся листать страницы анкеты, но не никак не мог успокоиться: — Какие лукавые вопросы, а вдруг меня потом найдут и скажут, что у меня непатриотические убеждения?

— А ты правильно ответь, — в тон ему пошутила Соня.

Все опять оживились: Борис засмеялся, Андрей стал возражать ему, а Катя снова заволновалась, и только Мила грустно держала в руках только что выданные ей листы, думая о чём-то своём.

— Ну, подожди, — увлечённо продолжал доказывать Борис — кажется, он ни в чём не хотел сегодня соглашаться с Андреем и постоянно пытался поддеть, — вот ты говоришь, что не любишь все эти иностранные государства и так далее...

— Я не говорил так, — возражал ему Андрей. — Я не люблю, когда иностранные государства суют нос в наши дела, устраивают майданы и оболванивают население...

— Ну да, ну да, — поспешно соглашался тот, как бы показывая, что он это и имел в виду. — Но вот, например, Плахотный... Он сейчас живёт в Европе, и он наверняка против Путина и за украинцев, а вы пользуетесь его квартирой и почти не платите за неё, разве это правильно? Это разве не нарушает какие-то ваши принципы?

— Я не знал этого, — с вызовом ответил ему Андрей и на несколько секунд остановился, пытаясь понять, как реагировать на эти слова.

— Борис, что за глупости, — вмешалась Катя. — Всё это не важно, да ведь? — повернулась она к Андрею, ещё даже не веря, что эти шутки могут быть восприняты им серьёзно. — Мало ли что думает этот Плахотный!

Но Андрей всё ещё молчал, напряжённо глядя на Бориса.

— Ну ведь мы не будем из-за этого ничего менять, — продолжала Катя, уже действительно пугаясь и не желая даже произнести это нелепое "съезжать". А видя, что Андрей по-прежнему напрягает скулы, ужасно расстроилась и уже не могла взять себя в руки.

— Володя, ну ты-то почему молчишь? — бросилась она ко мне. — Скажи, это правда, что Плахотный против России?

— Да кто его знает, — выговорил я растерянно. — Вроде бы он всегда ругал американцев, — вдруг вспомнил я, и она сразу же обрадовалась этому удачному воспоминанию.

— Правда? Андрей, Андрей, ты слышишь!

— Ладно, хватит лясы точить, — решительно оборвал разговор Андрей, подавленно вздохнул и принялся убирать тарелки со стола.

— Борис дурак, я ему этого никогда не прощу, — тихо выговорила мне Катя, пока никто не слышал.

Я пожал плечами, пытаясь показать, что и сам не знаю, что это на него нашло.

— Да, атмосферка тут тяжелая... Пойду покурю, пока меня не репрессировали, — тем временем засмеялся Борис и подмигнул мне: — Пойдём, тоже.

Андрей продолжал настойчиво убираться, а Катя принялась помогать ему. Соня с нарочитой сердитостью оглядела всех, будто желая сказать — ну что вы, как дети малые, помирились бы лучше. Я всё ещё держал неуместную теперь кастрюлю с пастой в руках, не зная, куда её девать, и, наконец, поставил на краешек стола.

Мы с Борисом вышли в подъезд, поднялись по лестнице на один пролёт и остановились у закопчённого окошка. Если бы это происходило года три-четыре назад, я мог бы подумать, что он злится на то, что у Кати появился парень, ведь когда-то давно она отвергла его ухаживания, но сейчас это казалось совершенно нелепым. Также я понимал, что Борис в общем-то согласен с убеждениями Андрея, ведь спорил же он всего час назад с Ромой по этому поводу, а значит дело явно именно в самом Андрее.

— Будешь? — спросил Борис с улыбкой, открывая пачку, хотя знал, что я не курю.

Но я зачем-то всё-таки взял сигарету и стал машинально вертеть её в руках, так что постепенно распотрошил, а потом просто тёр между пальцами ошмётки табака, напоминавшие деревенское сено.

— Слушай, что же такое происходит с нашей Катенькой? — заговорил он тем же шутливым тоном. — И где она вообще нашла этого, из ячейки...

Я поморщился от резкости его слов и только пожал плечами, стряхивая с пальцев табак.

— На самом деле, я давно уже заметил изменения в её характере, и не в лучшую сторону, — продолжал он поспешно. — В последний раз, когда мы с ней общались, ее какие-то непонятные мысли о будущем мира донимали, и, помню, я очень удивился тогда... Понятно, что это Андрей на неё так влияет, но не знал, что настолько.

— Ты пойми, мне тоже не безразлично будущее мира, — он остановился, чтобы сделать несколько коротких затяжек, и я вдруг подумал, что так отрывисто дышат собаки, — и я тоже не в восторге от этой ерунды, которая происходит у нас сейчас. Но у меня по этому поводу свои мысли, а у нее это явно навязано. Ты знаешь, что она собирается ехать в какую-то “осеннюю школу”, видимо, как раз на тот их завод, где стрельбы. А ведь там ей могут окончательно обработать мозг. Может, пора нам спасти нашу Катеньку?

Он говорил это ехидно, так что мне стало обидно за Катю. Я сказал, что ещё не был в их организации, и потому не могу ответить ему точно, но думаю, что это Андрей хочет ходить в ячейку, а Катя наоборот, пытается вытащить его оттуда. Но всё равно я уверен, что это не секта.

— Хорошо, если так, — ответил Борис недоверчиво, — просто самые опасные секты как раз-таки не те, где сразу видно, а те, по которым вроде так и не скажешь — правильные вещи говорят, это вы дураки не понимаете... Конечно, я не думаю, что Катя в секте, — торопливо оговорился он, — но и не считаю, что всё это пойдет ей на пользу.

Борис закончил курить и старательно тушил сигарету о пыльный подоконник, а я вдруг так разозлился на него: неужели он думает, что я живу рядом и не вижу всего этого, и не могу позаботиться о Кате, или может, считает, что он больше меня переживает за неё...

— Ладно, я присмотрю за ней, — сказал я то, что он хотел услышать, и это вышло пафосно, как в плохих сериалах по Первому каналу. Но Борис, кажется, остался доволен, и мы медленно вернулись в квартиру.

Вечером, когда гости разошлись, мы с Ромой сидели в своей комнате. После недавнего разговора с Борисом на лестничном пролёте мне вспоминались наши институтские годы в общежитии. Серые стены, прожжённые окурками, тарелки с прилипшей гречкой, книги на полу и Катя-первокурсница, зашедшая к нам, — она не обращает внимания на беспорядок, ей нравится, что она красивая молодая девушка и с её появлением у нас, старших ребят, сразу завязывается разговор, все поднимаются со своих мест. Она любит тащить нас куда-то в Москву — чтобы было веселее и интереснее, и больше людей, и больше шуму и радости. И вот мы выходим на улицу, а она идёт чуть впереди, торопясь, запрокидывая голову, и в эти мгновения, как сама потом рассказывает, чувствует, что настоящая жизнь течёт сквозь неё... А теперь в соседней комнате они ссорились с Андреем, не закрывая двери, и их голоса — Катин резкий и взвинченный — и глухой и отрывистый Андрея — врывались к нам и звучали так раздражающе отчётливо, что нельзя было не вслушиваться в них.

Вдруг Рома резко всгал, шагнул в коридор и громко хлопнул их дверь. А когда вернулся, надел наушники и напряжённо принялся глядеть в экран. “Ну чего он злится, — подумал я, — понятно, что Андрей задел его, но Андрей же как ребёнок...” Я любил Рому таким, как сегодня на кухне, лукавым и насмешливым, а это неожиданное ожесточение было мне неприятно.

Я взял свой ноутбук и прошёл на кухню. В темноте виднелись только обступающие меня тени шкафов, а впереди — окно, в котором отражался край пустынной улицы: мостовая в крупных каменных плитах, трамвайные рельсы, описывающие круг, в центре которого — одинокий фонарь. На другой стороне улицы теснились пятиэтажки. Людей не было. Отчётливо слышались Катинны всхлипы из соседней комнаты.

Не включая света, я сел за стол и открыл ноутбук. На сайте движения была выложена трансляция митинга, я запустил её, и опять потянулись передо мной стройные ряды в красных куртках, и серое мартовское небо, и площадь, заполненная людьми, и человек в меховой шапке, выкрикивающий резкие слова. Сначала я тщетно пытался увидеть на экране нас с Катей, и только однажды, кажется, разобрал её шапку с хохолком в толпе — Андрея же показывали несколько раз, он всегда стоял решительно и прямо, ему бы понравилось. Но постепенно я втянулся: там, на площади, почти не слушал выступавшего, только обрывки речи, а теперь мог понять, что он говорит — и про Крым, и про киевский майдан, и про Россию. В его словах была одна повторяющаяся мысль, что теперь всё изменилось, что началась война, в которой можно только победить или умереть. И живое ожесточение этих слов действовало на меня сейчас гораздо сильнее, чем утром. Да и сам митинг казался другим: никто не переминался с ноги на ногу, никто не отвлекался на постороннее, а все были едины с этим человеком и его хриплым голосом. Я досмотрел трансляцию, а потом долго ещё сидел в темноте и думал, что утром на площади было столько разных людей, их голосов, их мыслей и переживаний, а теперь всего этого нет, исчезло из мира навсегда, а остался только ролик, на котором всё просто и грубо. И от этой безвозвратной утраты мне было грустно.

Но чем дольше я сидел в тишине, тем сильнее охватывало меня другое, более сильное чувство, как если бы что-то плохое случилось с кем-то из моих близких. Будто действительно человек в меховой шапке был прав, и приключалось страшное, может, начало большой войны, которая перевернёт всю привычную размеренную жизнь — и уже не только на далёкой Украине, а прямо здесь, у нас. И будто даже Катя плакала в соседней комнате как раз из-за этой грядущей войны. Я подумал о стране, наверное, я любил её, но не понимал до конца, что же это на самом деле значит. Будет война, пойду на фронт, беззаботно сказал я себе, но всё это показалось смешным и странным — разве мог быть какой-то фронт, какая-то война... За окном всё так же горели фонари. Улица замерла, как на старой открытке.

Не знаю, сколько времени прошло. Рядом вздрогнул холодильник и мерно загудел в темноте. Я сидел на корточках, опираясь спиной на косяк, вслушиваясь в это гудение. В это время где-то позади раздался шорох. Я резко обернулся и увидел силуэт Кати в проёме двери, вскочил и торопливо включил свет.

— Андрей заснул, — потерянно сказала она. — Представляешь, мы ругались, потом я плакала, а потом смотрю — он просто заснул...

Я вздохнул.

— Из-за чего ругались-то?

Катя поджала губы и на мгновение нахмурилась, как бы стараясь вспомнить.

— Ну, он говорил, что ему нужно ещё почитать статьи, посмотреть фильм к следующему собранию... потому что мы и так сегодня весь вечер потратили на гостей. А я ему говорю, я это понимаю, — она оживилась, начиная доказывать это уже Андрею, а не мне, — я тоже устала от людей, и так хочется побыть вдвоём. А он этого не чувствует, ему важнее читать свои статьи.

Я понимающе кивнул — да, всё ясно, сел на стул и изредка поглядывал на неё. Катя подошла, рассеянно взяла стакан, налила воды, но не стала пить, а просто перекаладывала его из одной руки в другую. Она всё ещё была в красном платье, которое надела на праздник, и это так неестественно выглядело среди выцветших обоев и грязной посуды.

— Спрашивается, кто важнее ему — я или эта яичка... Почему ему больше нравится заниматься всякими политическими делами, чем быть со мной? Но ведь так не должно быть. Я думала, что скоро мы поженимся, что у нас будет венчание, а он, получается, не уверен, нужна ли я ему.

— У него же это не от неуверенности, — попытался я успокоить её, — просто мужчины должны думать о судьбе страны, а женщины быть рядом.

— Это ужасно, если только женщины должны думать о семье. А мужчины, получается, могут вообще не любить? — спросила она тихо.

Мне нечего было ответить. Я знал, как Катя мечтает о хорошей и правильной жизни, которая наступит, когда они повенчаются, и боялся разочаровать её в этом. Конечно, ей по-девичьи хотелось замуж, и в то же время обидно было, что они уже больше года встречаются и полгода живут вместе, а Андрей так и не делает предложения. Ещё я знал, что она относится ко мне как к очень близкому другу, ещё с тех институтских времён, и сейчас ждёт от меня каких-то важных и крепких слов о том, как поступить. Но что я мог сказать ей? С одной стороны, Андрей, наверно, был хорошим человеком — мне нравилось то, как он страстно пытается различить добро и зло, и только не совсем то считает добром, и не совсем то злом; нравилось, что он готов взять на себя ответственность за целый мир и в том числе за Катю — я не мог ожидать, что он предаст её, беззаботно поиграет и бросит. Но с другой стороны Борис, конечно, был прав — совсем не такого человека хотели мы видеть рядом с нашей Катенькой. И меня часто пугали его налитые ненавистью, ничего не видящие глаза в те моменты, когда Андрей говорил о каких-нибудь либералах или других врагах, и страшно было подумать, до чего же он может дойти в своём ожесточении...

— Он предлагает: вот у нас с тобой ничего не получается, может нам разойтись? — продолжала Катя задумчиво. — Но я ведь точно знаю, что у нас всё хорошо, он просто не понимает! Хотя я сама виновата, я часто знаю, что нужно сказать, чтобы мы помирились, но как нарочно говорю по-другому, провоцирую его. Знаешь, мне просто подсознательно кажется, что если это на самом деле мой человек, то он поступит так, как нужно...

— Ой, слушай, я же тебе так и не рассказала, как мы ходили в церковь! — воскликнула вдруг. — Мы же отнесли анкеты, но потом договорились даже постоять на службе и подойти к священнику, и представляешь, там такое было...

Мне всегда нравилась в Кате эта способность — вот так вот беззаботно увлекаться, поддаваясь неожиданным чувствам, будто бы и не было тех сложностей, которые мучили её минуту назад.

— Пока мы ещё в очереди стояли, он мне говорит — я не хочу исповедоваться. Я говорю — но ведь мы договорились. А он — давай я просто дойду, но исповедоваться не буду. Я говорю — ладно. А очередь там была огромная, и священник так быстро всех отпускал, а бумажки сразу разрывал. А Андрей подошёл и стоит, долго так стоит... Я сначала рядом была, пыталась подслушать, а потом отошла, а они всё говорят и говорят. Я уже испугалась, и оказалось — не зря! Представляешь, он начал с ним спорить, сказал, что он атеист и ни вот что не верит, и вообще он любит Сталина и хочет, чтобы в России не было капитализма...

Я не выдержал и рассмеялся.

— Прямо так и сказал?

— Так и сказал... А священник, естественно, ответил ему, что коммунисты закрывали церкви и убили царя... А Андрей давай ему доказывать, что убили по ошибке и что Ленин был против... Ты не знаешь, кстати, как на самом деле?

— Не знаю, — пожал я плечами.

— Ну вот, в общем, я даже не могу понять, хорошо ли, что они вот так поговорили... С одной стороны — это ужас, конечно! А с другой — Андрей первый раз хотя бы услышал чужое мнение, мне кажется, это важно...

Я неопределённо покачал головой, и мы на некоторое время замолчали. Приоткрыв дверь ланой, вошёл Маркиз. Катя сразу же потянулась к нему, прижала к себе, но тот стал вырываться — ему не нравилось на руках. А когда она отпустила его, сразу же расправился, потянулся, запрыгнул на подоконник и принялся настойчиво вылизывать себя после Катиных рук.

— Да, как всё сложно... другие вот пары ссорятся, потому что парень ходит на сторону или... мало зарабатывает, например, — постарался я развеселить её. — А у вас проблемы такие... солидные, — подобрал, наконец, нужное слово и опять осторожно улыбнулся.

— Тебе смешно, — ответила Катя горько, но сразу же и сама тихонько засмеялась. А потом, опять подумав о чём-то плохом, посерьёзнела и нахмурилась.

— Да я понимаю, что всё это выглядит... как шутка. Но это всё совсем не шутка! Знаешь, он приехал из Васильевского такой ожесточённый, и я переживаю, что им там наговорили, как их настраивали на все эти последние события. Мне кажется, их специально зомбируют, делают из них пушечное мясо... Я очень боюсь, что их готовят ехать на Украину, — сказала, понижая голос, будто если громко произнести это, оно может вдруг стать правдой.

Я хотел было возразить ей, но в это время Катя загорелась новой идеей:

— Слушай, тебе надо обязательно сходить к ним на собрания, посмотреть, — проговорила она торопливо. — Просто я там уже ничего не понимаю, а ты сможешь сказать точно...

— Да, я тоже об этом подумал сейчас, — соврал я, чтобы поддержать её.

Мы опять замолчали.

— А ведь это неправда, что он такой, — задумчиво заговорила Катя, опять погружаясь в свои мысли и как бы не замечая ни меня, ни подкравшегося к ней по подоконнику Маркиза. — Он мне говорил, что чувствует — какая-то высшая сила есть, но пока не может понять, что это за сила... Значит, в глубине души он человек верующий.

“Только вот во что верующий?” — хотел было сказать я, но вовремя сдержался.

А когда Катя ушла спать, ещё несколько минут сидел на кухне, не двигаясь. За окном лежала та же пустая улица, тяжело звякнул запоздалый трамвай. Маркиз сидел, замороженно наблюдая за ним.

Я пытался прислушаться к себе, есть ли внутри та тоска, которая появилась после просмотра трансляции, но она вроде бы улеглась, осталось только лёгкое чувство грусти после разговора. Я поднялся и принялся мыть посуду — в понятной размеренности домашних дел всё становилось проще.

Что я знал о ячейке, к которой принадлежал Андрей, — да почти ничего. Она представлялась мне местом тёмным и загадочным. Я знал, что это отделение какой-то политической организации, которая пропагандирует возврат в СССР, что там довольно жёсткая дисциплина и каждый, кто состоит в ней, должен обязательно читать их книги и газеты и смотреть специальные ролики. Ещё я знал, что каждую неделю они проводят собрания, на которые Андрей иногда берёт Катю и после которых та всякий раз возвращается домой подавленная. Меня Андрей тоже звал туда, и я уже обещал ему, что схожу, но всё никак не мог решиться, каждый раз откладывая на следующую неделю. Конечно, меня привлекала таинственность их собраний, но и пугала серьёзность, с которой Андрей упоминал о них. Впрочем, на следующей неделе после митинга я всё-таки собрался на их мероприятие всерьёз, и не только из желания помочь Кате, но и просто из любопытства.

Собрания ячейки проходили по средам в Коптево. В тот вечер я нарочно задержался на работе, чтобы вместо запланированных трёх часов отсидеть там только последний час, а перед Андреем оправдаться неотложными делами. Впрочем, опоздал ещё сильнее, потому что долго искал нужный корпус — район был странный, дороги преграждали заборы и гаражи, дома стояли вразнобой, и только, позванивая, переваливались по мощёной мостовой пустые неуклюжие трамваи, и некого было спросить. Наконец, я разобрался, что нужно было войти в узкую арку рядом с детской площадкой, мимо которой я проходил до этого уже несколько раз. В тесном дворе повернул за шлагбаум к маленькому дому, втиснувшемуся между двумя каменными стенами, в котором таинственно горели три окна на втором этаже, а в них двигались узкие вытянутые тени. В неожиданном тёплом и просторном фойе оказалось окошко гардероба, в котором появилась навстречу усталая женщина и привычно протянула номерок. На одном из стендов, сгрудившихся у входа, я увидел афишу сегодняшнего вечера и удивился, что это не какое-то закрытое мероприятие и о нём может узнать даже посторонний человек, вот так вот просто зайдя сюда. Поднялся по крутой лестнице с массивными деревянными ступенями и приоткрыл единственную дверь на пролёте, из-за которой доносился резкий отрывистый голос — и в ту же секунду пожалел, что всё-таки решился прийти, да ещё и так нелепо, с таким опозданием, но бежать уже было поздно...

Я стоял на пороге небольшой вытянутой комнаты, похожей на аудиторию в институте. У стены с противоположной стороны стоял молодой парень с крупной георгиевской ленточкой в лацкане голубого пиджака, а остальные сидели перед ним в несколько рядов. Парень ненадолго остановился и на правах хозяина кивнул мне, а потом некоторое время ещё ждал, пока я размещусь. С краю находился свободный стул, один человек принялся суетливо убирать с него вещи, ещё двое с шумом двинулись, чтобы я влез в узкое пространство между крайним стулом и стеной. Казалось, все смотрят на меня. Я сел, неловко озираясь, и увидел Андрея, который сразу же кивнул мне мягко, одобряя, что я всё-таки пришёл. Рядом с ним я заметил Катю — она была бледная и напряжённая, погружённая в себя.

— Итак, всё определяется через такие категории, как первое — честь, второе — поступок, — тем временем начал молодой парень в пиджаке размеренно и даже немного небрежно. — В 90-е годы как раз и понизилась планка и повылезала из углов всякая шваль, не способная ни хранить честь, не совершить поступок...

В первом ряду, неловко приветав со своего места, согнулся, как перед прыжком, пожилой человек с густыми белыми волосами — кажется, он был разгорячён, и руки его дрожали.

— Что вы понимаете... о чём вы говорите... — с досадой перебил он молодого парня, морщась, будто его слова доставляли физическую боль. — Вы понимаете, что под видом десталинизации они собираются провести очередную перестройку... Вы понимаете, что для них всё ненавистно — и советская история, и вся наша культурная матрица... Они всё это хотят разрушить.

Двадцать пять лет они мучали страну и не сделали ничего. И теперь они думали, мы опять проглотим десоветизацию... они не ожидали, что гражданское общество начнёт сопротивляться, да и то это весьма слабое сопротивление...

— Сергей Владленович говорит — враг не ожидал, что мы пойдём красными колоннами! — поспешил вставить парень, чувствуя, как инициатива уходит от него. — Теперь враг замер.

— Вы принимаете желаемое за действительное... вы не понимаете... — ответил ему старик, стараясь говорить строго, но всё равно сбился в концовке и оттого ещё сильнее разгорячился.

— Это не я, а Сергей Владленович, — довольно усмехнулся парень..

Все эти слова разом нахлынули на меня, так что я так и не смог толком разобраться, о чём же именно спорят эти люди. В тот момент рядом со мной встал ещё один молодой человек и заговорил о чём-то уж совсем непонятном, ему ответили с другой стороны стола. И отовсюду слышалось “Сергей Владленович говорил...”, “а вот Сергей Владленович...” — имя это обладало магической силой. Я взглянул на Катю: она сидела, по-заячьи вжав голову в плечи, и я подумал, сколько же раз она приходила сюда в надежде зацепиться за то, что позволило бы ей разгадать тайну этого места и наконец-то увести Андрея отсюда. И тогда мгновенно успокоился, и скованность моя вдруг пропала: я стал жадно вглядываться в этих людей, но не чтобы понять их слова, а чтобы понять их самих. И теперь мне уже стало жаль, что я здесь всего лишь на полчаса. Стоило лишь несколько фраз услышать от каждого, чтобы вынести им самый точный и окончательный приговор...

Всего было человек двадцать-тридцать. Говорили не все — я видел, как вихрастый паренёк в голубой рубашке, сидевший в моём ряду, лукаво щурился, думая о чём-то важном, но не желая показывать этого никому. Пожилой человек, который доказывал про “двадцать пять лет они мучали страну”, ёрзал на стуле и нервно мял пальцы, но из последних сил удерживался, чтобы не перебить.

Андрей иногда вставал со своего места и вмешивался в спор — он не был ведущим собрания, но тщетно пытался управлять происходящим:

— Ребята, тише, не все сразу! — и сразу же удивила меня скрытая нервность в его голосе и то, как неуверенно он чувствовал себя здесь.

— ...Стоп, мы не об этом... давайте по руке... — его почти никто не слушал, и каждый стремился возразить не по очереди.

— Паша, — наконец, обратился он к молодому парню с георгиевской ленточкой на пиджаке, который выступал первым, и я вспомнил это имя — о нём часто говорила Катя, он был здесь одним из главных. Тот нарочно ждал, когда ему дадут слово, чтобы опять с полным правом заговорить.

Он выступал так же, как и все здесь, но более решительно, как имеющий право высказать всё громче и яростнее других. Сначала о том, что необходимо работать с молодыми людьми, объяснять им историю и особенно опасность фашизма. Потом о зверствах Бандеры и о том, как он убивал мирных граждан. Он пытал или нет? Он насиловал? Вы хотите это отрицать? — нагнетал сильнее и сильнее, но глаза оставались при этом спокойными. Наверно, он очень хотел походить на мужчину в меховой шапке, выступавшего на митинге, того самого Сергея Владленовича, а может, он даже нарочно копировал его манеру. “А где же сам Сергей Владленович? — удивился я. — Почему его нет?”

Паша высказался, демонстративно отошёл к окну в дальнем углу комнаты и, опершись на подоконник, захлестнул ногу на ногу. Кто-то на задних рядах осторожно зашептал, но громче и громче. А потом всё зашевелилось, задрожало — в недрах невидимого муравейника готовились вырваться наружу тысячи возмущённых слов. Резко, с придыханием заговорили рядом со мной двое, попеременно перебивая друг друга, попытался успокоить всех Андрей — и вся ячейка задрожала от молодой жесткости и порывистости. “Мы им покажем... мы им показали в Крыму... и будем гнать бандеровцев до самого Львова”, — грянул полный парень в чуть скошенных набок очках, сидевший позади меня. В комнате перебрасывали большой горячий мяч, а я никак не мог его поймать.

С левой стороны, у самого окна, где стоял Паша, сидела маленькая девушка с милостивым, но очень бледным лицом и тёмными короткими волосами. Она слушала, не произнося ни слова, но живо реагируя на каждое движение спора: то загоралась, то недовольно поджимала губы и, закрывая глаза, откидывалась на спинку стула, словно каждый говоривший пробуждал в ней то ли женскую страсть, то ли жгучую ненависть. Одета она была в чёрную бархатную блузку с открытыми плечами, может, даже слишком открытыми для политического заседания.

Наконец, подошла её очередь. Она поднялась и долго стояла молча, так что постепенно вокруг стало тихо. Это было неожиданно — и потому что она была девушкой в окружении выступавших парней, и потому что в её поведении не чувствовалось срывающегося желания обязательно вставить фразу в общий спор.

— Хочу вернуться к полемике между Пашей и Петром Петровичем, — заговорила она с ровным и сильным напором, кивнула пожилому человеку у стены, но сразу же равнодушно отвернулась от него, показывая, на чьей на самом деле стороне правда. — Все мы считаем гибель Советского Союза своей личной трагедией, — чуть смягчила суровый тон, как зачастую делает это Андрей, когда речь заходила о чём-то советском, — ...и, тем не менее, можем взглянуть на ситуацию в обществе объективно. А ситуация такая, что традиционные ценности поддерживаются сейчас большинством жителей страны. Поэтому мы и говорим, что так необходим большой опрос, который это покажет...

Ей подошло бы быть директором какого-нибудь государственного учреждения, нетерпимой к тем, кто нарушает дисциплину, говорила она уверенно, даже жестко. Но руки, сжатые в замок, иногда подрагивали от внутреннего волнения, и это наблюдение и понравилось мне, и отчего-то встревожило. Впрочем, кажется, она и сама всё понимала — опять остановилась, собираясь с мыслями, потом убрала руки назад, и теперь уже ничто не мешало ей продолжать, раскладывая всё по широким железным полочкам:

— Теперь второе. Нам важно не просто изучать врага и разоблачать его, но и противопоставить ему свою личную программу, свою мировоззренческую формулу. А русская формула — это формула любви, — выговорила вдруг с особенным акцентом, и эти резкие слова о любви так неловко прозвучали в накалённой душевной комнате. — Мы хотим объединиться с теми, кто нас любит. Поэтому мы не вошли в 2008 году в Тбилиси. Крым нас любит. И Юго-Восток нас любит, и поэтому мы придём туда и будем их поддерживать, — и таким странным было это “мы”, как если бы это она в конечном счёте решала, кого поддерживать, а кого нет.

Девушка села на место, и я заметил, как Паша довольно улыбнулся и дотронулся рукой до её маленького острого плеча, а она невольно шевельнула локтём, сбрасывая эту неуместную руку.

“В целом я согласен с Варварой”, — заговорил молодой человек в голубой рубашечке, и я запомнил это суровое имя. “Я хочу ещё сказать о нашей газете, которую мы распространяем... — опять вышел вперед Паша. — Здесь серьёзная аналитика на тему того, что происходит в мире... Особенно будет полезно тем, кто ещё только пришёл в движение”, — и почему-то внимательно посмотрел на меня. А я торопливо отвёл глаза и с удивлением подумал, что, может быть, не только я наблюдаю сейчас за ними, но и за мной в это же самое время кто-то наблюдает.

Внезапно всё закончилось, и я сначала даже не понял, отчего это они все разом поднялись со своих мест. А потом мне стало досадно — зачем же я так сильно опоздал, я ведь ни в чём не разобрался. Рядом задвигали стульями, стали громко разговаривать. Несколько ребят ещё хотели подойти к Паше и Варваре, и на сцене образовалась небольшая очередь. А я всё сидел на своём месте в углу, пытаюсь уловить какие-то случайные фразы в толпе, обрывки разговоров, но всё уже было зря.

В этот момент я заметил, как устремилась к выходу Катя, не ожидая Андрея, будто ей не хватало здесь воздуха, и я заторопился вслед за ней. На лестнице мы переглянулись, но ни на секунду не сбавили шаг. Вырвались



в холодный свежий вечер, по инерции сделали несколько шагов и, наконец, остановились у шлагбаума перед низеньким решётчатым забором, разделяющим тесное пространство между домами надвое.

Дул осторожный ветер, каким-то чудом проникший в этот негостеприимный глухой двор. Над нами одиноко горел фонарь. В Катиных волосах блеснула то ли маленькая брошка, то ли случайная снежинка.

— Ну как можно быть таким дураком, да? — резко повернулась она ко мне.

Я удивился, но потом понял, что это она про Пашу.

— Да не воспринимай его так серьёзно.

— Я не могу не воспринимать его серьёзно, — возразила Катя порывисто и возмущённо. — У нас же Паша идеал, Паша это, Паша то, он ведь уже сделал выбор, который мы всё никак не можем сделать...

В это время из дверей потоком стали появляться ребята, и Катя отвернулась, чтобы кто-нибудь из них ненароком не заметил её подавленности.

Подошёл Андрей. Катя нетерпеливо повернулась по направлению к месту, но он сказал:

— Стойте, давайте других подождём, — и не заметил, как Катя с яростью взглянула на него.

Она всё равно двинулась вперёд, медленно, из последних сил пытаясь не выдать себя. Я шагнул за ней, и Андрею тоже пришлось тронуться с места.

Остальные ребята не спешили: столпились у крыльца и оживлённо переговаривались. Пожилой мужчина настойчиво доказывал что-то Паше, который стоял гордо и независимо, глядя перед собой. Последней выскользнула из дверей та девушка, Варвара. Когда мы уже готовились войти в арку, я ещё раз взглянул назад. Она сильно махала кому-то вытянутой рукой, словно бы исполняла заводной клубный танец, а потом скрылась от моего взгляда за каменной стеной.

Темнота обступила со всех сторон, и мы почти наощупь шагнули на открытое пространство широкой и пустынной улицы. Катя шла впереди, Андрей был совсем растерян от её торопливости. У детской площадки на выходе из двора он ещё раз попытался задержаться:

— Кать, подожди! Куда ты так торопишься? — и в голосе его было и недоумение, и раздражение.

Но та даже не обернулась, хотя и немного замедлила шаг. Я шёл посередине между ними, надеясь, что они сейчас помирятся. Мельком опять оглянулся и увидел в арке чью-то одинокую тень. “Может, Варвара?” — подумал я и испугался этой мысли.

У трамвайных путей мы догнали Катю, молча поравнялись и встали между двумя огромными тенями от деревьев. Я опять осторожно повернул голову — Варвара подходила уже совсем близко, и нужно было либо ускоряться, либо ещё несколько секунд подождать, чтобы сойтись с ней окончательно. Но никто из нас троих не знал, как поступить.

Варвара, кажется, тоже совсем не хотела нас догонять, но пройти мимо было неудобно.

— Вы пешком? А то у нас некоторые ленивцы на трамвае едут... Как вам сегодняшнее обсуждение? Понравилось? — и, смутившись нашим молчанием, продолжала поспешно: — Не знаю, может, незнакомому человеку и могло показаться сумбурным, но это кружковский этап, его нужно пройти любой политической силе...

Произнося это, она мельком взглянула на меня, хотя и не обращалась явно, просто говорила как всем троим. К счастью, в тот момент совсем рядом звякнул трамвай, обливая нас густым жёлтым светом, и мы опасливо струдились у деревьев, уступая ему мостовую целиком. А когда на нас опять опустился полумрак, ещё некоторое время шли молча вдоль путей, провозжая два пронзительных глазка.

— Конечно, ребята нетерпеливы, всё время спорят, — зябко пожала плечами, — это естественно. В спорах они учатся отстаивать свою точку зрения. Но в главном мы должны быть едины, а главное для нас сейчас это — общее мировоззрение...

— Да, ты права. Я сам об этом размышлял, — коротко ответил ей Андрей, но дальше продолжать не стал. И, кажется, разозлился ещё сильнее, оттого что вот бы сейчас всерьёз обсудить с Варварой такие важные вещи, а ему приходится вместо этого думать, на что же обиделась Катя.

Слева и справа от нас рядами росли высокие деревья, образуя длинный коридор для трамвайных путей, внутри которого шли мы. А где-то наверху, прямо над головами, ветер качал голые макушки, как куцыми вениками, подметая ими беззвёздное небо. Каменные шести нерабочих фонарей появлялись из темноты. Я шёл с краю, и каждый раз обходил их справа, а остальные — слева, и получалось, что я иду отдельно от всех. Но мне-то было спокойно, я мог шагать так часами, слушая ветер, скрип веток, а им троем спокойно не было. У них там, в крошечной тишине, всё натягивалось, как тугая ткань, у каждого по-своему — недоумённо, раздражённо, обидчиво.

— И вообще, такая радость, ребята! — опять не выдержала молчания Варвара. — Я иногда просто иду по улице и вдруг вспоминаю — Крым наш, всё, этого уже никто не может отменить. И мне так хорошо, я не могу даже этого выразить словами, — она говорила нарочито воодушевлённо, но на самом деле постепенно становилась всё мрачнее, оттого что мы совсем не поддерживали её дружелюбный тон, и уже, наверное, ругала себя, что вообще подошла к нам.

Ещё несколько мгновений такого вот разговора, и она должна была закрыться. А я подумал, что, может, больше и не увижу её никогда, но мне всё равно будет потом жаль, что я вот так вот оставил человека в сложной ситуации, словно обманул его. Но Варвара не замкнулась, не замолчала — просто вдруг резко повернулась в мою сторону:

— А вы вообще знаете, что Крым теперь российский?

— Знаю, — растерянно ответил я. И на всякий случай добавил: — И тоже рад.

— Извините, что я так спрашиваю, — продолжала она, вынужденная несколько смягчиться от моих слов. — Просто современная молодёжь зачастую ничем не интересуется. К нам приходят люди, которые не знают даже, когда была Великая Отечественная, их теперь в школе ничему не учат...

Я подумал, что она как минимум на несколько лет младше меня, а значит, и школу закончила позже. А ещё о том, что ей было проще выплеснуть свою злость на человека не из ячейки, чем на своих, и именно поэтому она сейчас заговорила со мной. И опять пожалел эту колючую девушку, которая так плохо скрывает свои чувства и так уязвима, что её могут задеть даже те, кто совсем не желает ей зла.

Мы опять пошли в тягучей и двусмысленной тишине. И вдруг на помощь — то ли мне, то ли Варваре, кто уж теперь мог разобрать — пришла Катя.

— Володя ходил с нами в субботу на митинг, он по-настоящему переживает, — горячо воскликнула она. — И знаешь, Варь, я ещё хотела тебе сказать, ты молодец, ты очень хорошо сегодня сказала на собрании, и особенно про любовь. Ты всегда очень хорошо выступаешь, и я всегда внимательно тебя слушаю...

— Другие ребята тоже много важного сказали, — осторожно поправила Катю Варвара, но видно было, что ей и приятны слова Кати, и сразу легче стало оттого, что чьи-то свежие чувства ворвались в этот сухой разговор.

— Да, да, но ты сказала лучше, — перебила Катя, и в голос прорвалось столько неожиданной страсти. — Я ведь ещё хотела тебя спросить по поводу опроса, — и я опять удивился, что она знает об их ячеечных делах, о каких-то опросах, думала о них и даже хотела о чём-то спросить. — Мы взяли анкеты для распространения и решили отнести их в церковь. Может, мы неправильно сделали? В церкви ведь люди лучше, чем в других местах, и опрос будет необъективным, да?.. — но чем больше она говорила, тем меньше горела, и в конце концов устыдилась своей многословности — не слишком ли она глупо выглядит, не сказала ли лишнего.

Вот и Андрей поморщился недовольно: по его мнению, Катя всегда говорила не то.

— Ну при чём тут церковь? — не выдержал он.

Но Варвара не заметила его недовольства и оживилась ещё сильнее:

— Слушай, мне кажется, ты очень глубокою вещь сказала! Это интересно, я как-то не задумывалась, это же целевая группа. Да, ты права, конечно, цифры поддерживающих традиционные ценности в церкви будут выше...

— Но знаешь, — остановилась вдруг и таинственно улыбнулась, — Сергей Владленович часто употребляет такой красивый образ, кажется, из Блока, что мы должны стиснуть меч в руке народной. Опрос не самоцель, он поможет нам обосновать очевидный факт, понимаешь? Способ вложить меч в народную руку. Поэтому если результат будет несколько выше оттого, что мы проводим его в церквях, а не в гей-клубах, это в принципе не страшно...

Катя слушала её и горячо кивала, и я понимал, что ей важны были не сами слова, а то, что Варвара произносит их так уважительно и с увлечением, и Катя была благодарна ей за это. И мне самому стало радостно, что всё так потеплело, и особенно приятны были теперь — и таинственный полумрак, и пустынная улица, и снег, лёгкий, почти весёлый. И эта странная девушка, сжимающая кулак с воображаемым мечом, говорящая так серьёзно и строго, что и самому хотелось ответить ей что-нибудь эдакое, чтобы она и на меня посмотрела не как на зелёного новичка, и начала бы увлечённо объяснять мне что-то, а я заинтересованно кивал бы в ответ.

— Ну это я так думаю, — вдруг испугалась Варвара резкости своих последних слов, — а вообще, нужно спросить... Давай я узнаю точно и скажу тебе, хорошо? Ладно, слушайте, я слишком разволновалась, а сейчас вспомнила... мне надо подождать Пашу и кое-что ещё с ним обговорить...

Она отстала, поджидая других, и осталась одна в темноте. А мы шли по-прежнему молча, но уже спокойнее — как если бы просто по пути домой встретили давнего друга, поговорили о чём-то интересном, попрощались, а теперь идём своей дорогой. Впрочем, когда мы уже подошли к метро, я ощутил, как сильно всё-таки вымотался, хотелось немного побыть одному, восстановить покой в душе.

— Ладно, езжайте, я ещё немного погуляю здесь, — сказал я Кате и Андрею.

А когда они спустились в метро, долго стоял у подземного перехода, а вокруг потоком текли люди, не замечая меня, и вечерний город гудел деловито, но не буднично, словно завтра должен был быть выходной или праздник, или просто решительно и бесповоротно наступала долгожданная весна. На кроме Ленинградского шоссе высится огромный плакат, приветствовавший возвратившиеся домой Крым и Севастополь. “Знаю ли я, что Крым присоединён”, — вспомнил я и усмехнулся, но беззлобно.

Рядом с метро находился парк, огороженный невысоким забором. Я приблизился к нему, чтобы не стоять в самом центре людского потока, и присел на корточки, опираясь спиной на железные прутья. Потом, не придумав ничего лучше, вернулся к Войковской, а у подземного перехода опять столкнулся с Варварой — она шла одна, наклонив голову. Мы оказались совсем рядом. Я смутился, будто подсмотрел что-то личное, что она бы не хотела никому показывать, но сразу же приветливо улыбнулся, чтобы она не подумала, что я могу использовать это личное против неё. А она слегка наклонила голову в ответ. И от этой случайной встречи, мне стало окончательно легко, и я двинулся не вслед за ней, вниз, в метро, а вперёд, куда глядели глаза, по бурлящему весеннему шоссе.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 5

Ветер рвал позеленевшие ветки, и, подчиняясь ему, перекатывались по мокрому асфальту трухлявые прошлогодние листья, осенний мусор и свежие, едва набухшие почки. И не передать было словами сумбурные и торопливые переживания, которые охватывали в те недели меня, и, казалось, всех людей вокруг.

Постепенно я проник в тот мир, который раньше почти не интересовал меня: начал смотреть новости, сначала раз в день по вечерам, потом стал заходить на новостные сайты с компьютера на работе, а иногда и целые часы проводил в напряжённом чтении. Впрочем, я никогда не понимал отчётливо, что происходит, и не мог, как Андрей, начать с ходу разъяснять, как нужно воспринимать то или иное событие — истина всегда была чёткой и ясной в его словах. Я же, напротив, ощущал что-то неопределённое, то тревожное, то ликующее: горячую волну одного чувства, а следом — захватывающую силу другого. Когда я видел митинги, на которых огромная толпа ликует и кричит: “Россия, Россия”, прямо как в Крыму, а потом лавиной занимает горсоветы в одном, другом, третьем городе на востоке Украины, меня томили предчувствия большой будущей победы. Но почти сразу же я узнавал, что где-то погибли мирные люди, опять прошли аресты, куда-то срочно перебрасываются украинские войска — и тогда становилось тоскливо оттого, что всё рухнет и поднимающееся воодушевление обречено. В ячейку я больше не ходил, не хватало времени, были другие дела. Андрей ещё пару раз заговаривал со мной об этом, я обещал выбраться, но всё не складывалось.

В один из апрельских выходных я остался в квартире один: Рома в те дни был дома, в Житомире, а Катя и Андрей ещё с утра уехали на какое-то мероприятие, и потому я весь день наслаждался покоем и тишиной. А потом случайно в новостях увидел, что сегодня ночью наступает Пасха. Вспомнил, как дома мы всегда красили яйца в этот день, сходил в магазин, купил два десятка яиц, разноцветные краски, и долго возился с ними на кухне, пока, наконец, не добился жиденького окраса скорлупы. Мои родители были не очень религиозными, но яйца на Пасху и поход в церковь за святой водой на Крещение — были обязательной традицией нашей семьи. Но особенно запомнились мне поездки на Троицу в деревню, где жили бабушка и дед. Тогда вся родня собиралась на старом кладбище, между могил расстилали широкое покрывало, все ели и пили, а потом возвращались в старый дедушкин дом и продолжали весёлую гульбу. А когда дальние родственники расходились и оставались только свои, бабушка зажигала тоненькую свечку и задумчиво сидела за убранным столом, и тогда можно было заметить, как влажели её сухие морщинистые веки...

Но скорое наступление праздника навевало на меня даже не домашнее, а ностальгию по старшим курсам института, когда я сам вдруг сильно загорелся христианством. Это было время необыкновенного восторга, чтения религиозных книг, неясных мечтаний, мне со всеми хотелось поделиться моей радостью, всех привести в церковь, и первой, конечно же, оказалась Катя — она тогда только поступила в институт, и в Москве я стал для неё на какое-то время единственным близким другом. По вечерам мы часто гуляли с ней неподалёку от общежития и жадно разговаривали о том, как правильно жить, — она с воодушевлением поддавалась моим взглядам. А по воскресеньям я вставал ранним утром, готовил завтрак, спускался в комнату к Кате и будил её — она вставала, растрёпанная, и сразу же приходила к нам. Рома и Борис мирно посапывали по своим кроватям, хотя Борис иногда просыпался и лежал с открытыми глазами, глядя на нас, а потом недовольно вздыхал и отворачивался. Катя говорила громко, ей разрешалось шуметь, даже когда все спали. Мы завтракали и шли в церковь. Но там не стремились отстоять всю службы и обычно, выдержав около получаса, шли куда-нибудь гулять, думая, что когда-нибудь потом, когда станем старше, сможем терпеть дольше. Мы и не знали тогда, что самое большее можешь сделать именно в опанутой радостью юности, когда ещё всё по плечу, всё живо и звенит в душе колокольчиковым звоном — а чем старше, тем приглушённое в тебе звуки... И действительно, постепенно мои восторги улеглись. Я и теперь верил и знал, что Бог есть, но жил, не особенно думая об этом, а всё больше ждал какого-то нового своего возгорания. Меня радовала горячая и немного наивная вера Кати, нравилось, что для неё всё это по-прежнему живо, что она хочет и Андрея привести в церковь.

В тот субботний предпасхальный вечер, незадолго до полуночи, чтобы занять себя, я опять сел за компьютер почитать новости. Всё было так же, как

и днём, когда я смотрел их последний раз, но я всё равно проглядывал знакомые фразы опять и опять. Наконец, я поднял глаза на стену, где висели старые массивные часы и вдруг увидел, что минутная стрелка перевалила за двенадцать. Я встал и попытался почувствовать что-то особенное, но ощутил только поверхностную пустоту внутри. Пасха наступила, но, наверное, оттого, что я не отследил радостный момент её наступления, самой радости не было. И тогда мне вдруг стало грустно, что вот, прошла ещё одна Пасха, а я занят какими-то, пусть даже очень важными, политическими событиями и уже почти ничего не сохранилось во мне от того, кем я был несколько лет назад и кем, возможно, мог бы быть до сих пор. Машинально я выключил экран монитора, чтобы больше не видеть тягостных, врывающихся в меня слов новостей. Хотелось отгородиться от всего на свете, оказаться наедине с самим собой.

На следующий день я ездил в гости к Борису, вернулся поздно, а потом началась насыщенная рабочая неделя, и я целиком погрузился в дела и будничные заботы. Я работал в рекламном отделе большой компании и занимался монтажом роликов. В те дни у нас был большой заказ, мы не успевали и постоянно задерживались после работы. В огромной комнате, разделённой прозрачными перегородками, всегда было шумно, за спиной ходили, гремя стульями, врывались ко мне и торопливо начинали говорить, а потом приходилось надевать наушники и погружаться в бесконечное прослушивания одного и того же отрывка.

Была пятница, рабочий день уже давно закончился, но я продолжал по инерции доделывать оставшиеся задания, не касаясь их мыслями. Сквозь наушники доносились чьи-то голоса.

— Ты чего, Крымнаш что ли? — кажется, это была Галина Евгеньевна, худая подтянутая женщина, коренная москвичка, работавшая здесь уже лет десять и очень тепло относившаяся ко мне. — Понимаешь ли ты, что это всё равно, что к соседу в карман залезть?

Кто-то виновато оправдывался. Я глянул из-за монитора, но они стояли, видимо, где-то сзади, а оглядываться и выдавать себя мне не хотелось.

— А я вообще новости не смотрю, ящик только промывает мозги, — поддержал Галину Евгеньевну чей-то высокий, как звук ножовки по металлу, голосок, в котором я узнал Гену-системного администратора. — А то станешь как этот, из маркетингового, двинутый на голову, который на запутинский митинг всех своих сонял...

В это время я машинально запустил новый ролик для монтажа, и опять провалился в работу, но держал мысль об этом разговоре где-то рядом, и, закончив ролик, вновь притаился, чтобы слушать, но голосов больше не было. Снял наушники, поднялся со своего места, недоверчиво огляделся — я оказался в офисе совсем один.

Тихо трещала лампочка на потолке, а из-за перегородок были видны столы, заваленные бумагами и несколько ещё мерцающих экранов, будто их хозяева лишь ненадолго вышли покурить. Офис был даже приятен мне в таком несуетливом состоянии остановившегося мгновения. Я медленно прошёл к двери, заглянул в пустой коридор и глубоко вздохнул. А потом шагнул к окну и распахнул непослушную створку.

Внизу монотонно шумел город. Я стоял, вслушиваясь в этот шум, постепенно проникающий в меня, вдыхал насыщенный свежий воздух, и ко мне неожиданно стало возвращаться ощущение сегодняшнего момента — вокруг оказался привычный мир, скрывавшийся от меня всю эту неделю, а впереди были выходные, свободные, спокойные, и опять можно было сидеть дома и не думать ни о чём. И тогда, вспомнив о подслушанном разговоре, я неожиданно осознал, что за последнюю неделю не только совсем не общался ни с Катей и Андреем, ни с приехавшим недавно Ромой, но и новости-то не читал ни разу после той пасхальной ночи. И тогда мгновенно ощутил сладкое замирание сердца и жадное желание новизны — скорее узнать, что там, и даже нарочно помедлил ещё несколько секунд, чтобы продлить предвкушение.

Торопливо вернулся к рабочему месту и распахнул ноутбук. Киевские власти штурмуют Славянск, жертвы... убиты в ночь на Пасху... в аэропорт

в Краматорске перебрасывают войска... к Славянску движется колонна без опознавательных знаков... ещё один ополченец погиб... — я читал и читал, уже не разбирая даты, и новое, и старое. Чёрным огнём горели покрышки на блокпосту, вооружённый человек с усталыми глазами говорил глухо — “мы будем стоять насмерть... нас так просто не взять”, а потом взволнованный женский голос с надеждой спрашивал откуда-то сзади: “говорят, русские войска в Донецке, это правда?” — и я уже не мог сидеть на месте, встал и всё ходил и ходил по сонному офису.

Ночь была затаённая, тёплая, и лишь ровные дужи лежали на земле. Я возвращался домой, но во мне ещё звенели эти голоса. Я наступал на расцётанный московский асфальт, а внутри закипало лихорадочное волнение оттого, что где-то там, за сотни километров, есть легендарная жизнь, где стоят на защите своей земли русские люди и говорят — мы не отступим. И мне теперь казалось, что и я имею какое-то отношение к тем людям, потому что и я тоже — русский человек. Это чувство было не сильное, оно не могло побудить меня ударить или даже сказать какую-то резкую фразу, но всё-таки было достаточно явным и вроде бы настоящим.

Когда я пришёл домой, дверь в комнату Андрея и Катя была закрыта, а в нашей комнате сидел за компьютером Рома. Он недавно вернулся с Украины, но мы ни разу после этого не заговорили о том, что там происходит. У нас было негласное и в то же время совершенно отчётливое соглашение не касаться спорных тем, как бы ставя нашу дружбу выше любых политических разногласий. Но сегодня я не мог держать это в себе, мне хотелось выплеснуть всё.

— Слушай, ну вот сейчас мне уже точно кажется, что наши введут войска...

Рома вздохнул и посмотрел на меня с укором.

— Как будто сейчас их там нет.

— Конечно, нет! — оживился я, поражаясь его наивности и в то же время ощущая невольное удовольствие, что могу сказать такие слова немножко небрежно: — Иначе они уже давно были бы в Киеве.

Рома слушал меня внешне спокойно, но всё время едва заметно морщился, как от большого зуба. Видно было, что он старается подобрать слова так, чтобы не выказать своих чувств.

— Володя, — начал он достаточно мягко, но этим названием по имени словно отгородился от меня стеклянной стеной, — я никогда с тобой не говорил по-честному, я знаю, что у тебя... другие мысли. Но я никак не могу понять... почему в твоём понимании русский патриотизм это хорошо, а украинский плохо?

— Сильнее всего, конечно, это у ячеечного, — он махнул головой на стену, за которой жили Катя и Андрей, — но и в тебе такое есть... почему вы нам отказываете в праве жить так, как мы хотим? Если мы хотим жить как в Европе, разве это плохо?

Последние фразы он произнёс резче и чуть громче. Я и мог бы ещё отшутиться, но его слова показали мне безумно несправедливыми.

— Разве это жизнь, как в Европе? — зацепился я за последнее сказанное им. — Разве по-европейски воевать со своим народом?

— Да с каким народом, очуманись, Володь, — Рома стал постепенно задыхаться и путать русские слова, как случалось с ним, когда он волновался, — да там настоящие военные, ты посмотри хоть фотографии, в сети выложены... против народа никто не идёт... помитинговали и разошлись — так двадцать пять лет было, и никто никого не разгонял...

— Вот потому и взялись за оружие, что их никто не слышал!

— Пускай так, но это проблема украинцев, при чём здесь русские?

Мы остановились, сердитые, взвинченные, но оба ощущающие, что вот ещё немного и мы могли бы просто улыбнуться и остаться на том же спокойном понимании другого человека, в котором жили последние месяцы, но инерция спора не давала нам прекратить резко — каждый из нас считал своё раздражение оправданным, а себя правым настолько, чтобы ещё немного отдалить неизбежное примирение.

— Знаешь, я сейчас смотрел видео, — начал я спокойнее, но всё так же настойчиво. — И вот в одном ролике я услышал, как какая-то женщина спрашивает с надеждой, правда ли, что русские войска в Донецке. Заметь — русских войск там нет, — заторопился я. — Но люди их ждут. Я не знаю, как поступят наши, решатся ли они на это, но на видео я слышу обычных украинцев, которые не хотят жить под вашей “властью”, и я не могу им сказать — нет, живите, как хотите, мы не будем нарушать целостность Украины...

— То есть ты теперь уже и не против, чтобы войска были? — перебил он меня и вдруг разом поскучнел. — Да нет, мне всё равно так-то... я буду в любом случае жить здесь... мне вообще политика не интересна... я просто не понимаю этих общих восторгов ваших...

— Да нет никаких восторгов, наоборот, все переживают, — воскликнул я, но и сам как-то погас.

Стало тихо и пусто оттого, что вот мы вроде бы уже замолчали и больше не спорим, но это согласие обернулось не примирением, а скорее, ещё более сильным разрывом. Мне было горько, что вот мы — вместе учились, вместе живём и часто понимаем друг друга почти без слов, но здесь отчего-то оказываемся такими разными, и он никак не может увидеть того, что так сокровенно открылось мне.

Я сидел за своим ноутбуком и думал о том, что два человека в принципе не могут понять друг друга до конца, а могут сойтись только на прямолинейном лозунге, как те фанатики из ячейки Андрея, на неглубоком принятии какой-нибудь формулы, которую на самом деле каждый из них воспринимает по-своему, но не хочет признаться в этом даже самому себе. С другой стороны, размышлял я, ведь не может быть то, что есть сейчас внутри меня, ошибкой... и ведь это так явно, кто здесь прав, а кто виноват. И сейчас, прошло всего несколько минут после неудачного разговора с Ромой, а мне опять стало казаться, что стоит сказать ему какой-то иной, более сильный аргумент, и он сразу же всё поймёт.

Сам Рома тоже, видимо, чувствовал досаду и хотел как-то сгладить ссору.

— Эти опять кричали, я уже не могу их слушать. Пришли недавно, и давай... Сейчас вроде успокоились.

Я кивнул, но мне стало ещё грустнее, оттого что и у Кати с Андреем, казалось бы, самых близких друг другу людей, нет никакого понимания. Экран моего ноутбука погас, устав ждать движения.

Тогда я осторожно поднялся и прошёл на кухню, самое спокойное место в квартире, где затихали любые конфликты. Там машинально взвесил в руке перегоревший неделю назад чайник — будто что-то в этой квартире могло измениться за один рабочий день. Потом нашёл в верхнем шкафчике алюминиевую кастрюлю, налил в неё воду, поставил на плиту и стал искать на подоконнике непустой коробок спичек. Сзади скрипнула дверь, и на кухню шагнула Катя. Она остановилась в дверях, ровным невидящим взглядом смотря куда-то мимо меня, а потом проговорила:

— Андрей собрал вещи и ушёл.

Я удивлённо взглянул на неё.

## 6

Через несколько минут Катя уже рассказывала мне, что же произошло между ними. Она начала тем же спокойным голосом, которым сообщила об уходе Андрея, но в какой-то момент этот натянутый голос неожиданно лопнул, и прорвалось всё, что было у неё внутри — она заговорила сумбурно, торопливо, пропуская слова, путаясь в мыслях. Но о многом я догадался и так...

На Пасху Катя опять уговорила Андрея пойти в церковь. Они зашли всего на несколько минут, людей было не очень много, и храм стоял светлый, просторный, весь наполненный крупными белыми розами. Катя остановилась в самой середине, осторожно прикрыла глаза и думала о том, что раз есть Бог и такая красивая церковь, то у них с Андреем всё должно когда-нибудь стать

хорошо — надо только любить его всем сердцем и тогда он поймёт и поверит в то же, что и она, и тогда и отношения их станут настоящими. Засыпая в тот день, Катя удивлялась про себя, как всё-таки просто жить, не переживая и не обижаясь, когда ты в таком настроении. Было ещё немного тревожно, вдруг на следующий день это чувство уйдёт, но утром она проснулась счастливая, ощущая в себе столько жизненных сил, что, казалось, теперь сможет всё делать правильно и вообще не ссориться, и даже если Андрей продолжит ходить на все свои мероприятия, не будет сердиться, потому что любит его.

В таком же особенном состоянии она провела несколько дней — ей хотелось всё делать для Андрея: готовить, убираться в комнате, радовать. Иногда по вечерам Катя нарочно заставляла его сесть за политические статьи к следующему собранию ячейки, и видела, что Андрей с неохотой принимается за них. И как приятно Кате было в такие моменты ругать его за беспечность, настаивать, чтобы он не отвлекался, а потом делать вид, что она читает своё, а на самом деле постоянно поглядывать на него. Иногда ещё, обычно сразу после возвращения с работы, они садились вместе смотреть новости, и Катя видела, как болезненно Андрей воспринимает всё происходящее, так что и сама начинала переживать и о славянских ополченцах и о глурых приказах киевской хунты. А он был благодарен ей за то, что она так возмущённо вскакивала и выражала те простые чувства, которые теснились в нём самом и которые он никогда не выразил бы так ярко, а продолжал держать внутри, мучаясь и съедая сам себя.

В четверг Катя предложила вместе пойти на еженедельный пятничный клуб, где собиралась вся московская часть движения, выступал сам Кургузов, и куда Андрей всегда ходил один. Видно было, что Андрея тронули её слова: раньше она соглашалась быть лишь на собраниях ячейки в Коштово, да и то без желания — и потому весь вечер он вёл себя с ней особенно ласково. На следующий день Катя очень устала на работе и хотела позвонить Андрею и сказать, что не придёт. Но, в конце концов, решила ехать, и ей опять стало хорошо, что она может вот так вот переступить через себя и пожертвовать чем-то ради любимого. Они встретились в метро. Андрей был сосредоточен и непривычно холоден для последних дней, сильно торопились, чтобы успеть к началу.

Всё проходило в большом здании, похожем на старый советский театр. В почти пустынном фойе стояло несколько столов, за которым участники движения регистрировали собравшихся. У одного стояла Варвара.

— Скорее, скорее, Сергей Владленович уже на сцене, — замахала она руками, ещё издали заметив их. — Сама регистрирую вас! Идите, идите! — заторопилась, видя замешательство обоих.

— Молодец Варя, — довольно проговорил Андрей Кате, когда они подходили к большим дверям, занавешенным тяжёлой бардовой шторой.

И пока они в темноте искали в зале места, извинялись перед кем-то, оказавшимся на проходе, устраивались, Кате было беспокойно, оттого что это из-за неё они опоздали, что Андрей, скорее всего, сердится сейчас и что он так искренне похвалил Варвару, которая уже наверняка никогда бы не опоздала на такое важное мероприятие. Но потом Андрей осторожно наклонился к её уху и тихо и нежно спросил:

— Ну как? Хорошо слышно?

А она поспешно закивала, хотя ничего ещё не слышала.

Зал был просторный, и слова из микрофона волнами ходили по нему то в одну, то в другую сторону, гулко отражаясь о стены и потолок, как в огромном бассейне. Кургузов ходил по сцене, заложив руки за спину. Он оказался теперь ближе, чем на митинге, но всё равно достаточно далеко, чтобы рассмотреть его хорошенько. И странно было, что такой маленький человек, похожий на лысого античного философа, подчинял себе этот наполненный людьми зал. “Интересно, есть у него жена? — подумала вдруг Катя. — Скорее всего, нет... А если есть, какие у них отношения...”

Кургузов говорил о важности информационной войны, ругал активистов за то, что так мало проводится пикетов, небрежно рисовал на доске графики и схемы, но она не старалась следить за его мыслью. И только один раз,



когда он резко произнёс: “Время миндальничать и расслабляться прошло... я понимаю — всем хочется жить беспечно, ходить в театры, в кино, есть мороженое...” — Катя удивлённо вздрогнула, потому что эти слова показались ей связанными с их отношениями с Андреем.

А когда лекция закончилась, они ещё долго стояли в фойе с Варварой и другими ребятами из ячейки. Кто-то сказал, что сегодня Сергей Владленович выйдет в фойе и будет неформальное общение, и, кажется, Андрей ждал этого. Катя же была особенно взволнована происходящим и тем, что она стоит в этой гудящей толпе, враждебной или уже не враждебной ей — она теперь и не знала, и потому была затаённая, пугливая, но внешне как бы очень открытая и приветливая. Только беседа почти не касалась её: Андрей общался со всеми, но никак не вовлекал Катю в общее течение разговора, а сама она не могла поддержать ни одну тему.

Подошёл Паша, спросил, как ей мероприятие, она ведь первый раз здесь. Катя видела, что для Паши это общение — обязанность поддерживать каждого, кто пришёл сюда первый раз. Но всё равно была благодарна ему за то, что она не осталась совсем одинокой в шумном фойе. Впрочем, иногда в Пашином взгляде мелькало неожиданное, будто он осторожно пробо­вал на вкус то один её ответ, то другой, но она не придавала этому особенного значения, решив, что это обычный мужской интерес, не относящийся к ней напрямую. И действительно через несколько минут тот уже оживлён­но заговорил с Варварой.

Потом у Кати сильно заболел живот, и она сказала об этом Андрею на ухо, чтобы другие не слышали. Андрей посмотрел на неё тревожно, торопливо попрощался со всеми, но всё-таки нехотя, что она тоже отметила про себя.

Когда они вышли на улицу, стало легче, так что даже живот почти прошёл. Катя рада была, что днём она не отменила всё и нашла в себе силы сходить сюда вместе с Андреем и при этом даже не злиться на него.

— Интересная девушка Варвара, да? — заговорила она. — Ты не знаешь, они с Пашей встречаются? Кажется, они подошли бы друг другу.

— Почему интересная, обычная, — возразил Андрей. — Насколько я знаю, они с Пашей просто друзья, у них общие убеждения. Хотя я и не вникаю в их отношения, это не моё дело.

Кате показались странными его слова, но она решила не продолжать разговор на большую тему об убеждениях. Она видела, что Андрей хмурый — ей не нравилось это, и было даже немного обидно, ведь она сегодня всё сделала правильно — так чем же он не доволен? Хотелось растормошить его, вывести на разговор.

— Погода почти летняя, — начала Катя как бы совсем беззаботно. — Можно будет на выходных покататься на велосипедах. Помнишь, хорошо было осенью по ночной Москве?

Андрей тяжело вздохнул и недовольно покачал головой.

— Кать, мне надо много делать, — ответил он устало. — Я по будням просто физически не успеваю, ты же знаешь.

— Нет, нет, — не сдавалась она. — Мы всё распланируем, всё успеем. Главное не тратить время зря, да ведь?

Андрей поспешно пожал плечами, но Катя видела, что он не согласен, и ей хотелось объяснить ему, что она не против его занятий по ячейке, а наоборот, желает помочь.

— Ведь спорт он же тоже полезен, — продолжала настойчиво, — ты же сам говорил... К тому же нужно и расслабляться.

— Ты же слышала Сергея Владленовича, — перебил её Андрей. — Идёт война, нужна мобилизация. Сейчас не время отдыхать.

Он обычно не настаивал на своём, полагая, что не надо спорить с Катей, если она ещё не созрела до таких важных вещей, но сегодня, когда она сама захотела прийти на клуб, не мог не сказать ей этого. Катя же задохнулась от обиды.

— Ну, нельзя же жить с таким настроением, — вырвалась у неё. — Ты постоянно говоришь, вот будет революция, вот будет война...

— Так если на самом деле война.

Катя зажмурилась и несколько шагов сделала в пустоту, не видя, куда наступает.

— Понимаешь, мне тяжело так, — выговорила она, наконец, жалобно, — и тебе самому тяжело, но ты не даёшь помочь себе.

— Я не маленький, не надо мне помогать, — ответил Андрей и ещё сильнее ожесточился.

Кате показалось, что это злые силы нарочно толкают её на ссору, и она испугалась, что может сейчас сделать такое, о чём потом будет сильно жалеть. Старалась подумать о хорошем, стала искать в ближайшем будущем то, что могло бы успокоить или отвлечь её, но ничего не находилось. А потом вспомнила — на завтра ещё был назначен пикет в Ботаническом саду, и окончательно обессилела.

Они почти зашли в метро, когда, не доходя нескольких метров до тяжёлых стеклянных дверей, Катя вдруг схватила Андрея за руку и отчаянно зашептала:

— Андрей, пожалуйста, помоги мне, давай не пойдём завтра на пикет... Потом я всегда буду ходить с тобой, но сейчас мне так тяжело, давай хотя бы на день остановимся, отдохнём... пожалуйста...

Андрей смотрел на неё с изумлением. Он услышал Катину обещание всегда ходить с ним и даже обрадовался ему, но в то же время оно не было для него чем-то новым — он уже давно ждал от Кати именно таких слов. А вот пропуск пикета был совершенным ребячеством. Тем более, завтра Варвара с некоторыми другими активистами из ячейки должна была осваивать новое место в Останкино, и потому на Андрея ложилось ещё больше ответственности, и он переживал, справится ли. Ему хотелось от Кати поддержки, понимания того, как важен для него завтрашний день, а не очередной истерики.

— Мы же запланировали, — ответил он резко. — Нельзя вот так вот взять и подвести людей, разве ты не понимаешь?

Катя неожиданно притихла и кивнула, испугавшись не столько грубого тона Андрея, сколько своей несдержанности и того, что слишком явно показала ему — нет, она не изменилась, ей по-прежнему не нравятся все эти дела, связанные с ячейкой. И пока они спускались в метро, Катя судорожно переживала свой глупый торопливый порыв.

В вагоне встали рядом, но отчуждённо, стараясь не глядеть друг на друга. Вокруг мгновенно зашумело, хлестнул воздух из открытого окна. В лязгающем шуме докричаться до другого было невозможным, а во время остановок в вагоне становилось так тихо, что любое искреннее слово сразу же обнажило бы их перед стоявшими рядом людьми — и оба молчали, напряжённо ожидая каждую следующую станцию.

Под мерный стук колёс Катя понемногу пришла в себя. Её невольное согласие с последними словами Андрея, сделанное машинально, теперь показалось ей даже правильным — следование плану, пусть даже вынужденное, всегда успокаивало, давало ощущение защищённости, уверенности, что произойдёт именно это и ничего другого. “Пусть, пойду на пикет... Может, всё забудется, может, мы ещё не поссоримся сейчас...” — подумала с надеждой.

А когда они вышли из метро, Катя даже заулыбалась раскинувшейся перед ними мокрой мостовой и солнцу, и лужам, и деревьям и только один раз с грустью вздохнула о том, что не придумать лучше времени, чтобы до утра кататься на велосипедах, потом встретить рассвет, и, ощущая приятную усталость, идти спать. Андрей же по-прежнему не мог успокоиться. Он не чувствовал себя ни в чём виноватым, напротив, это противостояние с Катей, отнимавшее и так небольшие его силы, раздражало.

— Зачем ты меня всё время тормозишь, — заговорил он с горечью. — Мне и так сложно, я мало читал, мало знаю, мне необходимо всё это навёрстывать. А ты специально мешаешь мне... Ты просто маленькая девочка, тебе ещё нужно вырасти.

Она слушала эти слова, напряжённо глядя куда-то в сторону, но последний раз ещё решила перетерпеть, поступить так, как и хотела — не спорить с ним и не расстраиваться. И сначала вроде как получилось, но в тот

момент, когда Катя опять подавила в себе возмущение, ей стало так обидно, что именно она терпела всё это время, делала вид, что всё хорошо, что ей нравится на этом проклятом меропрприятии: стояла, улыбалась там всем, как идиотка, и все видели, что она просто так пришла туда — просто нашему Андрею не с кем было оставить дома ребёнка, свою красивую девочку-дурочку...

— Так, может, надо избавиться от того, что тебе мешает? — спросила тихо, но уже с той отчётливой спрессованной обидой, которую теперь уже ничего не могло удержать. — Давай раз и навсегда определимся... скажи, что тебе важнее, я или ячейка?

— Не заставляй меня выбирать, — попросил Андрей надрывно, так что она поняла, что он уже думал об этом, а значит, уже и знает, что бы он выбрал в таком случае.

— Значит, так, да? — переспросила Катя и почувствовала себя теперь полностью правой и оттого безжалостной.

Они вошли в свой двор, и до подъезда им оставалось пройти только через небольшую спортивную площадку, окружённую деревьями, в глубине которой виднелись старые качели. Но Катя не могла сейчас просто вернуться домой, она чувствовала, что тогда всё это останется внутри и сожжёт её. Не глядя на Андрея, Катя свернула к качелям и села на них. Андрей же удивился, но подошёл сзади и стал осторожно раскачивать стальную цепочку — вроде бы ничего особенного не случилось, и они просто остановились здесь покататься. За деревьями горел яркий фонарь, так что сквозь густые ветки проникали неровные полосы света.

— Я понимаю, что ты не очень хочешь идти на пикет, — начал Андрей, стараясь поймать её взгляд, но она только насмешливо дрогнула губами — как будто дело было теперь в этом злосчастном пикете. — Но ведь это меропрятие уже согласовано, нам доверяют, и мы не можем подвести коллектив...

— Ой, может, хватит повторять за Пашей, — оборвала его Катя, — ненавижу, когда ты повторяешь за Пашей!

— Я не повторяю, — неожиданно смутившись, возразил ей Андрей.

— Повторяешь, повторяешь... как попугай... своих мыслей нет.

Она ждала каких-то таких его слов, выпрашивала их, сидя на этих качелях, и теперь, когда он поддался, нанесла удар безо всякой жалости. Она и понимала, что такая ссора опять отдаляет их, опять всё портит, но уже не могла вырваться из лавины, нараставшей у неё внутри.

— А у твоего Кургузова вообще комплексы. Это же видно, он просто ненавидит женщин!

Андрей перестал раскачивать цепочку от качелей и сел на скамейку рядом, бессильно опустив голову. Ему особенно тяжело было, когда Катя начинала плохое говорить о Кургузове или ячейке, тогда в его правильном и логичном мире нарушалась ясное разделение на добро и зло, которое он очень ценил. Он не мог допустить, что ячейка это зло, но тогда злом автоматически оказывалась Катя, а это было невыносимо.

Подул прохладный ветер, толстые тени от веток зашевелились на песке. Человек пробежал по спортивной дорожке за деревьями, и было слышно, как стучат подошвы по резине, но потом и этот звук стих. Катя по-прежнему сидела неподвижно, только качели уже остановились.

— Пойдём домой, ты устала, — опять попытался успокоить её Андрей, но она презрительно усмехнулась этой бессильной попытке. Эта его подавленность и даже покорность только ожесточали её: она уже чувствовала себя виноватой за свои слова, и ей хотелось, чтобы и он сказал плохое и обидное, чтобы они были виноваты оба. Но Андрей или молчал, или говорил таким вот мягким голосом. И тогда у неё оставался один выход — довести до предела, и если уж она в любом случае виновата, так быть виноватой до конца.

— Ты заикаешься, ты слабак, тряпка! Ты ни на что не способен, — рванула она, наконец, и сама удивилась тому, что знала самое больное для него, и даже смогла это произнести.

Андрей опять не возразил, только молча глядел под ноги. Катя растерянно взглянула на него, потом торопливо поднялась и пошла к дому, надеясь, что если она сделает это, то тогда он отвлечётся и забудет эти слова.

Когда они уже вошли в квартиру, то некоторое время ещё разувались, входили к себе в комнату, машинально убирали какие-то вещи, то подходили к платяному шкафу, то садились за компьютер. Андрею было тягостно это молчание — без Катиной помощи он очень медленно восстанавливал силы после таких разговоров. Он ждал, что Катя сейчас подойдёт к нему и улыбнётся, или скажет, что любит, как часто бывало после ссор, но та, кажется, тоже была подавлена.

Взглянул на часы, уже десять. Скоро нужно было ложиться спать, но он опять не сделал ничего, что планировал на этот вечер. Он уже почти научился не говорить с ней ни о чём политическом, научился выкраивать время по минутам — задерживаться по вечерам за ноутбуком или наоборот — вставать пораньше по утрам. И сейчас мог бы именно так и сделать: поехать на эту злосчастную велопогулку, а потом заставить себя встать через пару часов, и, пока Катя спит, посмотреть необходимые материалы к пикету, а может, даже прочитать один-два номера «Красной весны» к следующему собранию ячейки. Так было бы гораздо рациональнее и по времени, и по затраченным нервам — и ему было сейчас жаль своей ненужной откровенности.

Но в то же время Андрей не мог не думать о том очевидном выводе, который можно было сделать из всей этой ситуации — они просто не подходили друг другу. Это было единственным здравым объяснением всего происходящего, но в обычные дни у Андрея хватало сил отгонять от себя этот вывод, а после таких вот ссор он настойчиво появлялся в любых размышлениях.

— Мы уже год встречаемся, а отношения плохие, может, нам стоит расстаться? — спросил с тоской.

Он ждал, что Катя сильно расстроится и опять начнёт кричать, но она только равнодушно пожала плечами.

— Если считаешь так, давай расстанемся.

— Нет, ты меня неправильно понимаешь, — попытался объяснить он. — Я не хочу. Но ведь мы только мучаем друг друга. Зачем? Может, так будет проще.

Он не упрекал её, но как раз эта-то грустная искренность, которую она мгновенно определяла в его словах, считая её признаком самых настоящих, сокровенных его мыслей, обожгла Катю ещё сильнее.

— Если думаешь, почему тогда не уходишь? Уходи... Уходи к своей Варваре, — выговорила она свой тайный страх, потом увидела в его удивлённых глазах, что ошибается, а потом тут же испугалась, что сама подсказала ему такую мысль, и теперь уже он точно уйдёт к той.

В это время Маркиз, оживлённый Катиным громким голосом, ворвался в комнату и, как сумасшедший, запрыгнул на кровать, потом на шкаф и обратно на пол, будто это была игра, и замер посреди комнаты, безумными глазами оглядывая их обоих. Катя любила, когда он так играл, но теперь готова была закричать на него.

Сколько раз за последние месяцы они вот так вот срывались в разговор о расставании, и каждый раз Катя говорила Андрею — уходи, но потом сама же и подсаживалась к нему, клала голову на плечо, и всё успокаивалось. Но теперь не могла так — почему она должна всё время тянуть на себе их любовь, тем более если никакой любви с его стороны нет, если он действительно хочет разойтись, и только из жалости никак не может решиться... Ей невыносимо было находиться сейчас рядом с ним, нужно было успокоиться, отгородиться, и Катя быстро пошла в ванную. А когда закрылась там, вывернула кран на полную, села на пол, почувствовала себя полной глиняной куклой.

Андрей тоже помнил, что это не первая подобная ссора и не первый разговор о расставании. Только он не мог позволить себе расслабиться, слова про «тряпку» до сих пор жгли его. Он понимал, в чём именно Катя обвиняет его: нужно было принять решение — нельзя затягивать, нельзя было опять поддаваться душевному расслаблению, нужно было проявить твёрдость. В то же

время Андрей боялся, что теперь после того, как он решил это, она опять остановит его, и опять повторится та же ситуация, что и во время их прошлых несостоявшихся расставаний. Заставил себя подняться, схватил ноутбук, несколько книг, одежду на завтра.

Но в тот момент, когда он уже обувался в прихожей, Катя резко распахнула дверь и вышла из ванной.

— Куда ты идёшь? — спросила требовательно.

— Мне надо, — отрывисто выговорил он и, чтобы опять не проявить слабости и не поддаться на её эмоции, поспешно шагнул в коридор и стал быстро спускаться по лестнице.

Катя встрепенулась было — тотчас же догонять его, просить прощения, но вдруг её поразило: он от неё убегает, неужели она так надоела ему... Вернулась в комнату, села на кровать. Ей хотелось плакать и кричать от обиды и боли, но ни слёз, ни сил больше не было.

## 7

Когда она закончила рассказывать, то ещё долго молчала, глядя перед собой, иногда теребя пальцами краешек свисающей скатерти, — ничего уже не осталось в ней от той Кати, что ещё час назад мучила Андрея и так хотела уязвить его. Мне же хотелось спать, и я ругал себя за это, но иногда украдкой всё-таки наклонял тяжёлую голову к холодной белой трубе отопления, делая вид, что думаю о чём-то, а потом, стыдясь, выпрямлялся опять. На тарелке передо мной лежали поблёклые пасхальные яйца. Я зачем-то взял одно из них и принялся осторожно отчищать скорлупу, а та крошилась, превращаясь в мелкие назойливые кусочки. Маркиз медленно ходил по кухне, недоверчиво глядя на наши неподвижные фигуры.

Но вдруг Катя поднялась и в нервной необходимости что-нибудь сделать шагнула к плите, взяла в руки коробок, чиркнула два раза спичкой — газ вспыхнул и мерно зашипел. И я увидел — нет, она не перегорела и не смирилась, в ней по-прежнему билась горячая злая обида на Андрея.

— Ну, ведь если мы такие разные, может, и вправду, нам нужно расстаться? — спросила жалобно, но и требовательно, будто хотела вырвать у меня уже давно известную долгожданную истину, которую в целом мире не знала только она. Изо всех сил ей хотелось наброситься на те слова, которые сказал Андрей, и повторять их, надеясь доказать и себе, и мне, что он прав.

Я покачал головой, но она сразу же перебила меня:

— Только не надо меня жалеть, скажи, что ты думаешь!

— Ну, зачем я буду врать? — начал я наощупь, просто заполняя пустое пространство словами, но, тем не менее, ощущая, что говорю я, кажется, верно и что постепенно приближаюсь к этому горячему котлу — ещё не могу дотронуться до него, но уже способен держать руки рядом. — И вообще, откуда ты знаешь, как должно быть? — и увидел, как благодарно закивала она в ответ. Тогда, вдохновлённый её благодарностью, заговорил резко: — Может, так и надо, может, вам как раз и суждено это прийти? Если вы любите друг друга, то в любом случае всё будет хорошо...

— Не любим! Мы просто оба не умеем любить, вообще не умеем, я, по крайней мере, точно, — и опять устремилась в свою заочную борьбу. — Мы сегодня ходили на собрание, а потом стояли и разговаривали со всеми, и я поняла, как я сильно их ненавижу. Понимаешь, мне тяжело любить людей, я не могу с ними даже поговорить по-хорошему, столько злости сразу на меня накатывает. И я вспоминаю, так было всегда, и это не люди виноваты, это я такая. И друзей своих я не люблю, и тебя я не любила — никогда и никого не любила...

Я на секунду смутился от этого признания, спрятавшегося в потоке слов. Мы с ней никогда особенно не обсуждали те наши отношения, с долгими прогулками вокруг общежития и разговорами о вере и смысле жизни, с неумелыми поцелуями напрощанье, с повышенной требовательностью и неумением пойти навстречу друг другу — Катя тогда только приехала в Москву, а я учился на четвёртом курсе. Впрочем, эти отношения, наверно, и не

могли быть иными: в юности видишь в другом человеке лишь себя и действительно почти никогда не любишь по-настоящему. Я хотел было пересказать ей эту мысль, но не стал — пришлось бы много говорить о нас с ней, а сейчас был не совсем подходящий момент для таких мелочей, к тому же от этих слов она всё равно не перестала бы корить себя.

Катя же, кажется, не заметила моего минутного смущения, встала, опять подошла к плите, будто вода в кастрюле могла успеть вскипеть за эти несколько секунд, вернулась назад, иногда ещё то ли всхлипывая, то ли жадно глотая воздух.

— И ещё, — остановилась, не решаясь опять произнести это вслух, — там та девушка, Варвара, помнишь её? Я постоянно думаю, что она ему гораздо больше подходит... вот с ней он был бы счастлив, она такая правильная, идейная...

— Брось, — резко возразил я ей, — дай уж ему самому решить, кто ему подходит, а кто нет.

Она торопливо закивала.

— Да, да, ты прав...

И наконец притихла, больше не теребила скатерть, не вскакивала, не говорила ничего, просто сидела, иногда ещё чуть покачиваясь. А я вдруг пожалел, что задул искры страстного сопротивления, которое одно, может, питало её силами сейчас. Закипела вода, я поспешно встал, выключил газ и, чтобы всё это было не зря, налил нам обоим чай. Катя поднесла кружку к губам и поставила обратно.

— Тебе надо поспать и отдохнуть, — сказал я, даже не отдавая себе отчёта в том, что отдохнуть хочу я сам.

— Да, да, — согласилась она покорно.

Я ещё помыл чашку, чтобы не уходить так сразу. А когда уже лежал на кровати в своей комнате, прислушивался к звукам из кухни, но Катя, видимо, сидела подавленная и притихшая: ни всхлипа, ни звяканья посуды. И только неожиданно близко, буквально в метре от меня, раздался отчётливый шорох — это Рома в темноте сбил ногой книги, наваленные у моей кровати.

— Володя, ты ещё не спишь, нет? — заговорил он нервным свистящим шёпотом. — Извини меня, конечно, но есть такое понятие — совместимость, люди или подходят друг другу или нет. Ну зачем ты тешишь Катю надеждами? Этот Андрей, он ей просто не подходит. Вернее, он ни одной нормальной девушке не подходит, ну это ладно, я об этом даже молчу...

Его лицо не было видно, но я знал это его выражение нетерпеливого недовольства, с напряжённым взглядом и застывшей полуулыбкой.

— Но пусть они сами это решат, — сказал я первое, что пришло на ум.

— Вот пусть и решат, не надо им мешать, — зацепился Рома за мои слова. — Но ты-то ведь не просто успокаиваешь, ты говоришь, что нужно простить, терпеть или ещё что-нибудь там... — он напирал всё сильнее, и эти несправедливые неправильные слова проникали за стену, а ведь Катя могла услышать их. — А это всё болтовня. Надо знать, чего ты хочешь, какой человек тебе нужен... И для Кати это уж точно не Андрей!

— Тихе, тихе, — просил я его, но Рома никак не мог остановиться.

Он ещё долго ходил по комнате, повторяя про себя: “Ну ты даёшь...” или “С ума все походили...”, но уже спокойнее. А у меня и поднималось внутри раздражение, будто бы продолжался между нами сегодняшний разговор об Украине. Всё эти их, западные ценности, нагнетал я внутри себя, оценить, посчитать, найти, где комфортнее, а мы, русские, просто любим. Но я не мог сказать это напрямую, потому что вышло бы нелепо...

Рома заснул, а я уже выскользнул из промасленных лап сна. Лежал и думал, взвешивая на невидимых весах у себя в голове: может, они и подходили друг другу — эмоциональная Катя, страстно увлекающаяся любой идеей, в которой ей угадывалась душевная сила, и Андрей, старающийся всё понять умом, любящий укладывать мысли в нужном порядке, может быть, Рома неправ, и они могли бы быть вместе... Но настоящие горячие мысли мои рвались от Ромы и от Андрея куда-то далеко — к нам с Катей, к тем

отношениям, которые так нечаянно проникли в наш недавний разговор с ней. Особенно ярко вспыхивало в памяти окончательное расставание, после очередной ссоры, глупых обвинений, скорых слов — шёл дождь, а я шагал по ночному городу, а по телу разливалась ноющая боль. И теперь я был уверен: каждому нужен такой опыт боли, чтобы из него вытравилось всё наносное и чтобы его дальнейшая любовь, может, уже к другому человеку, стала более чистой и бескорыстной — но испугался и отогнал эту мстительную мысль, которая вышла из тёмных глубин моей души.

Из-за края окна в комнату проникал слабый свет, оставляя на дальней стене уродливый вытянутый полукруг. Нет, конечно, странно было вспоминать сейчас об этом — столько всего случилось с тех пор: сжигающие чувства исчезли, обиды забылись, а осталось только тёплое расположение друг к другу. Но ещё и ещё раз думать об этом мне было приятно — и вроде бы пытался сопротивляться этой приятности, но нехотя, лишь сильнее погружаясь в сладкую дремоту, навеванную этими мыслями. А в последний момент, перед тем как окончательно заснуть, хотел было даже подняться и идти на кухню, опять сидеть рядом и утешать Катю, но потом сытое удовольствие остаться в кровати пересилило — завтра, всё завтра, решил я и улыбнулся этому простому решению...

Но если бы я знал, как много надежд возлагала Катя на наш разговор, я бы не засыпал так умиротворённо. Пока она ещё ждала меня с работы, пока рассказывала об их ссоре, ей всё казалось, что самое страшное если уже и случилось, то ещё как бы не утвердилось окончательно, так что в любой момент время можно повернуть вспять и всё исправить. А теперь Катя осталась совсем одна, и никакой надежды, только тонны времени впереди. Она прошла к себе в комнату, но не решилась включить там свет, чтобы вдруг не обнаружить какую-нибудь вещь Андрея, а может, всё ещё отчаянно надеясь, что он здесь, спит, вжавшись телом в крошечный ковёр на стене, и поэтому его просто не видно в темноте.

Слева на стене висели рисунки — он и она, портреты, которые Катя нарисовала сама и подарила Андрею на год со дня их знакомства. А он подарил ей телефон, и Соня тогда сказала, что это подарки не одного уровня, что нужно равенство и Катя должна следить за этим, по крайней мере, до свадьбы, но она только беззаботно смеялась этим слишком серьёзным словам, дескать, когда у самой Сони будет парень, то она поймёт, какая же всё это ерунда. Но теперь Кате показалось, что, может, Соня была права, и это она, Катя, дала Андрею повод считать себя маленькой девочкой. И вся их ссора сжалась до детских картинок и злосчастного телефона.

Обречённо опустила Катя на пустую кровать, вцепилась в тонкую простыню и в тот момент услышала в прихожей шорох открывающейся двери. Вскочила, но тут же испугалась и легла, чтобы он не заподозрил, что она ждёт его. Сердце застучало, так что слышно было во всём доме. А потом легла, стараясь унять этот яростный стук, прислушивалась, но не различала звуков. Неужели он так тихо вошёл, удивлялась Катя, и всё ещё ждала и опять не давала затаившемуся сердцу разгуляться от сладкой радости. Но потом шорох раздался вновь, и она поняла, что это был Маркиз — так он цапал когтями старый хозяйский стул в прихожей. Разозлилась, хотела прикрикнуть на него, но злость опять прорвалась слезами.

И тогда внезапная ревнивая мысль ударила её — а куда Андрей ушёл, где он будет ночевать, и странно, почему не думала об этом раньше, может, он сейчас уже с какой-то другой девушкой, а она тут страдает и ждёт его. Но это было уже чересчур, и от такого невероятного и нелепого обвинения ей вдруг стало легче — это она уж точно придумывает. И вообще Андрей поехал к Паше: он и раньше иногда оставался у него, когда костяк ячейки собирался там. А сегодня Паша уехал в Васильевское, у него был поезд прямо после встречи с Кургузовым, много работы в Васильевском, слышала она, а у Андрея есть ключ. И неожиданно внутри у неё смягчилось — он точно у Паши, и тогда, даже на минуту ослабив хватку, боль вдруг отступила, тело обессилело, и она упала в короткий тяжёлый сон.

Кате снилось, что она поранила руку и бегает по большому пустынному дому, похожему на старое советское учреждение, в поисках зелёнки. Гулкое эхо следовало за ней неотступно, а люди только равнодушно пожимали плечами в ответ на её просьбы о помощи. Наконец, она остановилась где-то в длинном коридоре и вдруг догадалась: это не её кровь течёт по пальцам, это кровь её ребёнка, раненого, ещё не рождённого ребёнка у неё внутри. И в этот момент резкая боль от кошачьих когтей вернула Катю из сна — Маркиз так цапал по ночам каждый раз, когда чья-нибудь нога высовывалась из-под одеяла. Она мгновенно дернулась, вскопчила с кровати, ещё во власти страшного сна, кинулась на кога, прижала к полу. Хотела отшлёпать, как делала обычно, но от обиды ударила слишком сильно. Тот надрывно мяукнул, но не вырвался, и тогда она схватила его на руки, прижалась лицом к тёплой шерсти и гладила, и целовала...

Было раннее утро. Бледные лучи освещали комнату — скомканные вещи повсюду, её кофта на полу, под столом медленно перекатывающийся комок кошачьей шерсти. За окном лежал сонный каменный город, нестройные ряды многоэтажек уходили вдаль. Катя поднялась, скользнула к окну, потом к шкафу, подняла упавшую кофту. Надо было что-то делать, куда-то идти, и она вспомнила, что ещё вчера решила с утра сходить в церковь, оставив это для себя как последнюю лазейку — крошечную отчаянную надежду, что всё случившееся — не окончательно и что можно ещё изо всех сил попросить, и всё чудесным образом исправится. Стала торопливо одеваться, и деловитость сборов опять немного отвлекла от навязчивых мыслей.

Во дворе не оказалось никого, будто люди вчера уехали отсюда вместе с Андреем. Всё вокруг омертвело за ночь — детские качели у дома, забытые машины на обочинах. И оттого и самой Кате казалось, что сегодня ночью она умерла и теперь, как бестелесный призрак, бродит здесь, не оставляя следов, а если бы кто-то и встретился ей по дороге, то ни за что не увидел бы её. Лишь одна болезненная точка внутри продолжала биться и кровить.

Она медленно двинулась привычной дорогой туда, где было метро и где располагался ближайший храм. Постепенно то здесь, то там стали появляться люди. Они шагали в ту же сторону, что и она, словно бы тоже шли до храма. И тогда Кате показалось, что сейчас все они скопятся у входа, и внутрь будет не пробиться из-за духоты и тяжести чужих тел, но ей всё равно придётся ждать и потихоньку шаг за шагом двигаться вперёд в людском потоке, потому что именно там, в глубине, находится единственный источник чуда, и в отчаянной надежде прикоснуться к нему и пришли сюда все они, а уж ей-то обязательно нужно к нему. Но у подземного перехода люди схлынули вниз, в метро, и Катя осталась одна. А когда уже подошла к воротам и перекрестилась, то вдруг ударило её, что ведь и Варвара, кажется, — верующая, и наверняка ещё лучшая верующая, чем она, и что именно ей должен помочь Бог, а значит, нет ни единого, даже крошечного шанса для глупой маленькой Кати — и опять горькая ревность хлынула ей в душу, и церковь уже стала не её, а Варина, хотя та, может, никогда и не бывала здесь.

Внутри было поразительно красиво, как и несколько дней назад, когда они приходили сюда с Андреем сразу после Пасхи; мерно пели где-то наверху, а иногда священник отвечал на пение раскатистым низким голосом, и всё это выглядело торжественно, но оттого становилось ещё обиднее. На колонне перед Катей висела большая икона Николая Чудотворца — она в отчаянии шагнула к ней и заговорила с человеком, нарисованным там, как с Богом, уже не разбирая всех этих мелочей, какая разница... “Ну, помоги мне, помоги, зачем Тебе всё это? Я знаю, знаю... если бы я сама по-настоящему верила, Андрей бы уже тоже поверил, и всё у нас было бы хорошо. Но что же мне делать, если я не такая...” Она шептала это настойчиво и торопливо, уже не подбирая слов, а только повторяя ещё и ещё: “я не такая, я не такая...”

Постепенно Катя ослабла, и уже просто стояла в полусне, слегка покачиваясь то в одну, то в другую сторону. Она видела, как то там, то здесь крестились маленькие бабушки, как выходил к людям священник, как,



с опаской оглядываясь, потихоньку толкались и играли друг с другом два мальчишка в дальнем углу. Время текло медленно, и все предметы и люди вокруг становились привычными. Стоять стало скучно и тяжело, неожиданно заныли ноги, так что теперь странно было — чего она ждала, какого чуда. Наконец люди устремились вперёд, где священник давал по очереди целовать крест, и она, увлекаемая чужим движением, подошла к нему, а потом, как и все, направилась к выходу. А уже когда оказалась на улице и ступила на пересечённую утренними косыми лучами мостовую, подумала про себя, что вроде бы и зря она сходила сюда, а вроде бы и не зря. И не было ни радостнее, ни спокойнее, но чуть свежее в воздухе — будто бы жизнь пусть не в ней самой, но всё-таки течёт где-то...

После церкви Кате захотелось есть — кажется, вчера она не ужинала, но до сих пор не вспоминала об этом, а теперь вот ощутила здоровый сильный голод. И даже удивилась: как бы ты ни страдал, а всё равно с телом не поспоришь.

Дома окна были распахнуты настежь, и ветер по-хозяйски ходил из комнат в прихожую и обратно. Из глубины квартиры доносилась ритмичная беззаботная мелодия. На кухне Рома тщательно сворачивал в трубочку папиросную бумагу вместо ситечка, а потом осторожно насыпал туда кофе. Катя нерешительно остановилась на пороге, не зная, входить ли ей сразу или подождать, пока тот позавтракает, — с некоторых пор они старались не встречаться и не разговаривать друг с другом. Но Рома вдруг приветливо улыбнулся ей:

— Заходи, заходи, Кать, я сейчас.

Она коротко кивнула и шагнула вперёд. Но ей всё равно было неловко, она торопливо открыла холодильник и хотела взять что-нибудь, но все продукты были чужие, а на их с Андреем полке жались друг к другу два последних пирожных, которые Андрей купил несколько дней назад. Катя машинально достала пирожные, села на стул и, чтобы не встречаться с Ромой взглядами, стала смотреть, как за окном медленно переваливается на круге старенький трамвай. Рома же управился с кофе-машиной и принялся медленно нарезать сыр для бутербродов.

Есть захотелось ещё сильнее, и тогда Катя медленно поднесла к губам пирожное и осторожно надкусила. Подмёрзший крем громко хрустнул, но начинка была мягкая и вкусная. И тогда она вдруг улыбнулась — ушёл, а ещё заботится о ней.

Тем временем Рома тоже подсел к столу.

— Слушай, Кать, я случайно услышал тут ваш разговор с Володькой и узнал, что вы с Андреем расстались, — начал он мягко. — Не хочу тебя обидеть, но, знаешь, всё к лучшему. Это сама судьба тебя ограждает, поверь! Ты же красивая девушка, у тебя всё впереди.

— Спасибо, Рома, — грустно ответила она и ещё раз взглянула на пирожное с маленькой инеинкой на месте откуса, — может, ты и прав...

— Давай со мной кофе, — предложил он и, не дожидаясь согласия, подвинул ей свою чашку, а сам опять завозился с кофе-машиной. — Пей, пей, — а потом стал нарезать ещё бутерброды и заговорил о разных неважных и беззаботных вещах.

Катя была благодарна Роме — она слушала его и неожиданно для себя стала думать, что вот не любила Рому в последние месяцы, злилась на него из-за их конфликта с Андреем, а он, оказывается, хороший человек, гораздо лучше, чем она. Ей было и тепло от этой мысли, и горько, хотелось что-то сделать для других — и она торопливо поднялась, взялась за ручку кофеварки, нажала, но там что-то хрустнуло.

— Садись, Кать, я сам, — остановил её Рома, широко улыбаясь. — Тут у меня целая система, человеку неподготовленному не управиться...

Ей стало стыдно, села и нерешительно пригубила свой кофе, но Рома продолжал говорить о чём-то весёлом. И она стала отвечать на его слова сначала коротко, потом увлечённое и вскоре обнаружила себя ласково смеющейся чему-то. На мгновение остановилась, удивлённо прислушалась к себе — ноющая точка внутри болела так же отчётливо и затаённо, и, словно

проверив спящего младенца в коляске, Катя торопливо вскинула взгляд и опять засмеялась.

Я проснулся от их голосов. В открытую форточку тёк поток прохладного воздуха, задевая и меня, так что хотелось по-кошачьи жмуриться навстречу ему, и в то же время от неровного шелеста не разобрать было, о чём же так звонко говорят на кухне. Я лежал, лениво прислушиваясь, всё ещё находясь как бы и здесь, и в воспоминаниях четырёхлетней давности, с которыми засыпал, и мне нравилась эта сонная неопределённость, смешение двух людей, меня того и этого, в одном мечтательном мгновении.

И потому ли, что в комнате было уже светло или что ветер из форточки был так бодр и приятен, но из прошлого вспоминалось не расставание, не желание всё время удерживать Катю рядом, не ревность к Борису и ко всему миру, а самое пронзительное: какой-то особенно радостный день — мы стоим на пороге общежития, Катя вдруг проводит рукой по моим волосам, я замираю от щемящего чувства боязни нарушить это прикосновение, а она наклоняет голову ко мне на плечо. Обычно нежность в наших отношениях исходит только от меня, а она лишь принимает её, а тут всё по-настоящему. И теперь сегодняшняя светлый день воскрешал эту прошлую радость, а та текла обратно, в меня теперешнего, и потому я одновременно оставался и самим собою, и тем же влюблённым парнем, которым был тогда. Но ведь и девушка, наклонившая мне голову на плечо, была та самая Катя, которая сидела сейчас с Ромой на кухне...

Тихо наступая на тёплые деревянные полы, я прошёл по коридору и остановился на пороге, стараясь присмотреться к Кате, может, понять по её виду, как она провела эту ночь, в каком настроении сейчас, но ничего особенного не обнаружил — она сидела у окна и смотрела на Рому, стоявшего ко мне спиной и увлечённо рассказывающего ей о чём-то. Увидев меня из-за его плеча, Катя едва заметно кивнула в сторону стола, приглашая меня сесть, и засмеялась, то ли Роминой последней шутке, то ли тому, что тот не замечает меня. Рома, наконец, почувствовал движение у себя за спиной и, не оборачиваясь, специально повысил голос:

— А Володьку не слушай! Он тебе будет всякую ерунду говорить, а ты пропускай мимо ушей.

— Да я и не говорю... Это не в моих интересах, — пошутил я, вроде бы и вскользь, но достаточно явно, и самому стало приятно от собственной смелости.

— Кстати, у меня же записка одна есть, сейчас принесу, — заторопился Рома, вскочил и быстро зашагал в нашу комнату, а потом стало слышно, как там загадочно зашуршал бумажный пакет.

Но едва он вышел, Катя мгновенно посерьёзнела и виновато опустила глаза, словно опасаясь, что я буду упрекать её за недавний смех. Щёки её побледнели, и вот теперь-то мне действительно показалось, что за ночь она похудела и лишилась своего прежнего весеннего благоухания, обернувшегося сухой притихшей красотой, — это была вроде как совсем не та Катя, с которой я расстался четыре года назад, а может, даже не та, что сидела здесь вчера.

— Знаешь, мне ещё никогда не было так больно, как этой ночью, — заговорила она спокойно и глухо. — Может, это значит, что я его по-настоящему люблю?

Сердце моё упало. Я отчаянно пытался справиться со своим лицом, чтобы всем своим видом показать, что той глупостью, которую я сказал недавно, я лишь подыгрывал Роме.

— А сегодня я шла из церкви и вот точно почувствовала, что мы должны быть вместе, вот прямо отчётливо. И когда так чувствуешь, то ведь уже точно всё закончится хорошо, правда?

— Да, — согласился я.

— Я хочу ему позвонить, а там будь что будет... Думаешь, это неправильно?

— Правильно, — ответил я эхом.

— Я не боюсь, что он меня не любит, понимаешь? Если не любит, значит так и должно быть. Но я боюсь, что он уже с той девушкой, с Варварой, и если я позвоню, то он станет жалеть меня. Или ещё хуже, он вернётся ко мне, но будет знать, что ему лучше было с ней.

— В среду собрание ячеек, — осторожно произнесла она после небольшой паузы, и я уже знал, о чём она хочет попросить меня.

— Я схожу, — сказал я, опережая её вопрос, и она благодарно кивнула мне за то, что я угадал правильно. К счастью, в это время Рома вновь появился на кухне с цветастым кульком в руках и замахал этим кульком на нас обоих:

— Ну-ка хватит о ерунде! Давайте веселее, больше сладостей и хорошего настроения.

А я ещё немного посидел с ними, потом поднялся и двинулся в ванную, вроде как чтобы умыться, а из ванной ускользнул обратно в комнату, сел на кровать и упёрся локтями в колени. Заметила она или не заметила, сторал я со стыда. Нет, конечно, заметила, может, просто не показала...

Вернулся Рома, было слышно, как Катя прошла к себе — легко хлопнула её дверь. Я сидел, и передо мной была та же стена, на которой вчера ночью лежал серый полукруг. Сейчас здесь был дневной свет, а не предательский сумрак, в котором всякие нелепые мысли могли пролезть в голову. Теперь, после недавнего помутнения, мне особенно хотелось, чтобы Андрей и Катя были вместе, хотелось идти к ней и подбодрить изо всех сил. Но как же мне было после всего этого говорить с ней, всё время бояться и переживать, заметила или не заметила, нет, проще сейчас же всё рассказать, и пусть это будет ужасно стыдно и нелепо, только бы не мучиться больше от неопределённости — я решительно встал и прошёл в их комнату.

Катя спала полусидя на кровати, наклонившись головой к стене. Подушка лежала у неё на коленях. В разжатой руке она держала телефон, будто даже во сне ждала звонка от Андрея. Я остановился в дверях, не решаясь приблизиться. И тогда всё, что я переживал ещё минуту назад, разом выветрилось, а на душе стало сухо и тепло.

Я шагнул к открытому шкафу, достал тонкое шерстяное покрывало, осторожно накрыл её и вышел в коридор.

## 8

Накануне собрания ячейки я проснулся посреди ночи. Встал, медленно пошёл на кухню, как вдруг заметил, что из-под двери Катиной комнаты пробивается слабый матовый свет. А когда осторожно заглянул туда, увидел, что Катя сидит в наушниках за компьютером, наклонившись почти к самому монитору, а там, на экране, лицо Кургузова, который яростно говорит в камеру — это была одна из тех лекций, что постоянно смотрел по вечерам Андрей. Услышав шорох, Катя ударила по клавиатуре и резко оглянулась. Лицо Кургузова замерло на экране, искажённое остервенелой гримасой, но по случайности с лёгкой хитринкой в глазах.

Я подошёл к Кате и сел рядом.

— Ну зачем ты себя так изводишь? Разве это поможет?

Она отрицательно покачала головой, сняла наушники и посмотрела на меня в упор.

— Тебе лучше сейчас высыпаться, так ты только добьёшь себя, — продолжал я настойчиво, но она молчала.

— Знаешь, — наконец, заговорила слабым голосом, — когда делаешь что-нибудь плохое, и так из раза в раз, то попадаешь как в болото и там вязнешь, и уже не можешь выбраться. Это чувство, оно противное, но даже немного сладкое, и этой сладостью держит. А когда начинаешь сопротивляться, сладость пропадает, и тебе как бы говорят — ах, не хочешь по-хорошему, будет тебе по-плохому. И тогда ощущаешь себя как в помойке, и уныние накатывает очень сильно. И думаешь, всё, я скатилась, теперь нельзя уже просить прощения, и стыдно очень, а всё равно не просишь. А от этого ещё хуже...

— Катя, за что тебе просить прощения?

— Да за всё, за всё!

Мы замолчали. Катя сидела совсем близко, я слышал, как она дышит. Блэкый свет от монитора выхватывал из мрака край её щеки и тонкий локон волос, спадающий на лицо. Но ни этот локон, мелко дрожавший в нескольких сантиметрах от моих глаз, ни её дыхание в облипающей нас, как чёрной гудрон, темноте — ничего не могло задеть меня. Ничего не осталось теперь во мне кроме желания защитить её, словно бы она была уже не девушкой, которая мне нравилась раньше, а моей сестрой или дочерью. И я мог бы сейчас отдать Катю Андрею и не испытал бы ни ревности, ни сомнения, только бы он не обидел её...

Но уже скоро всё должно было стать ясным — напряжённое ожидание развязки не покидало меня весь следующий день. А когда я вечером ехал в трамвае от Войковской в Коптево, мне представлялось, что вот сейчас я войду к ним, увижу Андрея и Варвару, и одной секунды достаточно будет мне, чтобы во всём разобраться. К вечеру ещё сильнее распогодилось, стало по-летнему солнечно, и затейливые улочки призывно распахивались передо мной, но я не позволял себе любоваться их красотой. Вошёл в знакомую арку, миновал шлагбаум, где ещё месяц назад мы стояли с Катей, отыскал нужное крыльцо.

В фойе перед лестницей толпилось несколько человек. Я решил не приближаться к ним, а встал сбоку, вслушиваясь в обрывки разговора, поглядывая боковым зрением. Кто-то взахлёб перечислял города — Луганск, Шахтёрск, Торез, Снежное, Енакиево, мне знакомы были эти названия, постоянно мелькавшие в новостных сводках.

— Енакиево вчера, — поправил другой голос.

— В Горловке и прокуратура, и администрация — всё наше, — я обернулся и узнал Пашу, молодого парня с георгиевской ленточкой в лацкане пиджака, который больше всего возмущал Катю. — Все на своих местах, все работают.

— На Девятое мая будет самое главное — вот увидите...

А потом я увидел Варвару, она спускалась по лестнице, одна, без Андрея. Была одета в строгую белую блузку, и никаких обнажённых плеч, как в прошлый раз; тёмные короткие волосы часто поправляла за ухо — такой деловитый и в то же время неуверенный жест; серёжки — два крошечных строгих квадрата; лицо круглое; прямой нос; едва заметный румянец — она не была красивой, но затаённое, резкое, притягательное и правда было в ней. Я смотрел на эту девушку, и меня обжигала мысль, что сейчас я должен разгадать не только Андрея, но и её, и что это чужое сердце беззащитно передо мной, и не скрыть ей от меня никаких тайных устремлений и чувств.

— Сегодня аншлаг, двенадцать человек новеньких, — сообщила Варвара с таинственной полуулыбкой. — Восемь из института культуры от Васи Покровского, — и один из ребят, вихрастый паренёк в голубой рубашке, довольно вскинул голову.

— Пётр Петрович-то там?

— Да там, — ответила с внезапным раздражением, — главное, чтобы не заговорил с кем-нибудь.

Потом взглянула на часы и сильнее нахмурилась оттого, что они задержались, что потеряли какую-то важную минуту.

— Всё, ребята, пора, — сказала строго, и остальные лениво зашагали по лестнице наверх.

Никто так и не обратил на меня внимания, и я поднялся вслед за ними. В зале для заседаний они рассредоточились и слились со всеми остальными. Вдоль стены нервно ходил тот самый пожилой человек, который отчаянно спорил с Пашей в прошлый раз и которого, видимо, звали Петром Петровичем. Появился Андрей, рассеянно поздоровался и сел рядом. Мы не заговаривали друг с другом, только чувствовали напряжённое присутствие другого человека. Андрей вытащил из рюкзака несколько распечатанных листов, но я видел, что он не читает, а только скользит по ним взглядом.

На сцене возвышалась массивная деревянная кафедра, а на дальней стене висел большой флаг России. Варвара шагнула на сцену, встала рядом с кафедрой. Я старался поймать любой её тёплый взгляд в сторону Андрея, ожидание поддержки от него или наоборот, горделивое женское желание вызвать восхищение, вот какая я, веду этот вечер на твоих глазах, — но ничего подобного не было, или, по крайней мере, заметить я не смог.

— Все вы хорошо знаете, что ситуация на Юго-Востоке очень тяжёлая, и многим хотелось бы обсудить именно её. Но мы решили посвятить сегодняшнее собрание тем, кого Сергей Владленович называет тамошними, то есть либералам. Потому что фашизм на Украине и либерализм в России — это две медали одной и той же монеты, — начала она. — И поэтому сейчас Павел Косов прочтёт нам свой доклад. Меня всегда поражало, как Паша по-настоящему лично воспринимает политические противоречия, как он переосмысляет всё, что говорит Сергей Владленович. Для него это не просто слова, а настоящая жизнь. И это очень и очень правильно...

“А может, Паша, — подумал я, — они ведь часто бывают вместе”, — и эта неожиданная мысль сильно взволновала меня.

Паша вышел на сцену лёгкой спортивной походкой, покачивая плечами, как перед дракой, и мне даже показалось, что именно такой вот парень и должен нравиться девушкам. Опёрся локтями на кафедру, навалившись на неё всем телом.

— Спасибо тебе, Варвара Сергеевна, за веру в меня, — пошутил наигранно, но в этой шутке, вроде бы развязной, было что-то заискивающее и смущённое, отчего сам Паша стал вдруг гораздо менее опасным. — Мне ещё далеко до прозорливости Сергея Владленовича, — поглядел в зал, как бы ожидая, что его будут разубеждать. “Нет, не может быть, уж скорее Андрей, чем он”, — решил для себя я.

Атмосфера вечера сильно отличалась от той, что была в прошлый раз — никто не стремился сразу же перебить Пашу, все внимательно и одобрительно ждали начала. Полный человек лет тридцати в растянутом свитере, в ближайшем ряду наискосок от меня, один из стареньких, взмахивал кистями, будто дирижируя, а вихрастый поглядывая на него и улыбался. В середине зала сидели две пожилые женщины, кажется, совсем случайно попавшие сюда.

И вот Паша объявил, что его доклад называется “Как нам спасти Россию”. И с того момента стало словно бы две комнаты, две сцены, два зала с людьми. В одной из комнат сидело пара десятков человек, а перед ними выступал паренёк в костюме, произносивший возвышенные слова напряжённым митинговым тоном, иногда переходившим в едва заметную насмешливость, как будто он объяснял маленьким детям в школе и одновременно шутил над простотой объясняемого. И от этого само заседание казалось похожим на постановку в школьной самодеятельности.

Во второй комнате на стене висел большой прожектор и бешено мерцал в такт словам выступавшего, азбукой Морзе передавая то, что было жизненно важным не только для собравшихся, но и для всей России. Из мерцания прожектора мы узнавали, что в России властвует политический класс, состоящий из преступников, разворовавших страну. Мы узнавали, что эти преступники потешаются над святой Победой и всерьёз рассуждают, нужно ли было сдавать фашистам блокадный Ленинград. Мечтают, чтобы население России сократилось в несколько раз и чтобы отпали Урал и Сибирь. И вот в этой сложной ситуации появлялся Паша, который всё увидел и понял. Вернее, понял всё Сергей Владленович, но когда Паша говорил, всем вокруг казалось, что он как минимум тоже причастен к этому открытию, по крайней мере он-то охватывает своим взглядом ситуацию целиком, и кроме Сергея Владленовича только он может объяснить всё так хорошо. Паша видел людей этого класса насквозь — политики, телеведущие, актёры, он зачитывал их цитаты, и всем становилось ясно, как же сильно те ненавидят Россию.

Но Паша не только понимал проблему, но и знал решение, а именно — нужно было создать альтернативный политический класс, новую национальную элиту. И уж конечно национальная элита не возникнет сама собой,

её формированием необходимо заниматься — это было так очевидно, что понимал это не только сам Паша, но и все собравшиеся в этой комнате должны были понимать, а если не понимали, то Паше было искренне их жаль. Собственно, формированием этого политического класса и занимались Паша и его соратники в рамках движения Сути...

В основном все собравшиеся находились во второй, мерцающей, комнате, но кто-то сидел и в первой. Вихрастый парень и человек в свитере осторожно переговаривались, видимо, слышали что-то подобное уже много раз и привыкли — и случалось даже, что сквозь речь Паши прорывались резкие обрывки их фраз, распахивая дверь, так что люди из второй комнаты могли вдруг видеть краешек первой, но в тот же момент виноватые смущённо оглядывались, прося прощения за бестактность, и дверь снова закрывалась. Однажды в запале гнева Паша особенно картинно закричал о том, что либералы называют русских тараканами и свиньями, так что в зале засмеялись, наверное, над забавным сочетанием животных, и в прожекторе что-то на мгновение сломалась, и вторая комната исчезла, и стало темно и пусто. И тогда поднялась Варя, нахмурилась, сделала резкое замечание в зал — видно было, что она не потерпит глупых шуточек, когда речь идёт о важных вещах. И опять я напряжённо вгляделся в её лицо, но не было в ней того особенного волнения, которое должно было выдать влюблённую девушку — ни к Андрею, ни к Паше, только ровная холодность в глазах, и в то же время жадная страстность ко всему, что касалось обсуждаемых вопросов.

А Паша говорил. Что же нужно было делать, чтобы сформировать национальную элиту — безусловно, нужен был человеческий материал. Нельзя создать самолёт из глины, но если есть глинозём, то можно выплавить алюминий и создать из него самолёт. Но вот оказывалось, что глинозём есть, а алюминия пока очень мало. И самый важный вопрос сейчас — как нам всем, или хотя бы самым сильным из нас, стать алюминием... Варя зашевелила губами, кажется, повторила это странное “стать алюминием”. Почему алюминий, а не железо, подумал я вскользь. Паша повернулся и сделал несколько шагов от трибуны к дальней стене, на секунду скрылся от моих глаз за большим книжным стеллажом, а потом прошёл обратно и вновь повернулся лицом к залу. Ситуация была критической. Паша должен был осуществить то, что не в силах, потому как сейчас спасти Россию было почти невозможно. Но Пашу, кажется, наоборот, вдохновлял масштаб задачи. Разве нужно было поднять руки сдаваться? Вывесить белый флаг? Нет, нужно поменять себя, открыть внутри героическое естество, нечеловеческим усилием воли превратиться из Савла в Павла, из слабого обывателя в героя, способного справиться с любой задачей. Как говорит Сергей Владленович — стать уже не я, а сверх-я. Сверх-я — и прожектор отчаянно завибрировал, и все заморгали от его нечеловеческой частоты, а Варя восторженно сцепила руки, оглядывая зал. “Ну зачем она так рисуется, — никак не мог понять я. — Хочет расположить к себе новеньких? Или действительно не понимает, как это всё неловко?” И тогда неожиданная злость поднялась во мне на Варвару, и стало стыдно за неё, и обидно, что я шёл сюда, желая угадать в ней человеческую слабость, женскую влюблённость, которая была бы симпатична мне, а нашёл лишь одержимость твёрдыми, как кусок железа, идеями.

Я отвернулся, но в тот же момент увидел, что сидевший рядом Андрей больше не горбится и не смотрит в свои распечатанные листы, а внимательно слушает Пашу и даже тянется головой вперёд, к сцене. И моя злость на Варвару мгновенно вылилась на него. Он такой же, подумал я, ему не нужно никакой любви, никаких чувств, всё это его просто не интересует. Мне хотелось поклониться к нему и спросить резко, что же его привлекает здесь, разве он не понимает, что это всё — простые разговоры? И ради этих разговоров покинутая и брошенная Катя, которая в слезах смотрит Кургузова по ночам...

Паша заканчивал. Варвара благодарила его за замечательный доклад, давала слово другим людям высказаться с мест. Поднимали руки, задавали вопросы, Паша стоял, одной рукой опираясь на трибуну, и уверенно и чуть насмешливо отвечал — а я сидел и уже совсем не слушал, только комкал

старый трамвайный билетик, случайно завалившийся в кармане. И наконец, не выдержал и выбросил руку вверх, но сразу же удивился своему неожиданным порыву — что за глупости, что я делаю, зачем мне это — и опустил. Однако Варвара уже заметила этот жест, последовательно дала слово тем, кто просил его до меня, а потом приветливо кивнула в мою сторону, и я понял, что мне действительно придётся сейчас говорить.

Я встал и некоторое время ещё рассеянно молчал. В дальнем углу у окна висела батарея, но почему-то не внизу, под подоконником, а прямо посередине стены, и на ней застыли густые коричневые потёки. Сердце моё билось бешено. Я боялся, что меня собьют, начнут о чём-то спрашивать, и действительно, не дождавшись моих первых слов, Варвара вдруг обратилась ко мне:

— Ты ведь, кажется, уже был у нас и в прошлый раз даже не представился. Расскажи тогда коротко, кто ты, что тебя привело сюда, — и я не знал, что ответить ей.

Я попытался взглянуть в её лицо, понять, зачем она об этом спрашивает, может, она запомнила меня с того мартовского вечера, когда мы шли четвером по трамвайным путям в тёмной улочке — и тогда в этом вопросе заключалось нечто большее, чем просто вежливость организатора. Но нет, и ко мне, конечно же, не было в ней ничего затаённого: спокойный ровный интерес к новому человеку.

— Меня зовут Владимир Молчанов, — ответил я с вызовом, будто моё имя могло что-то объяснить им.

Они сидели и смотрели на меня выжидающе. Я понимал — у меня всего несколько секунд, пока они ещё не потеряли ко мне интереса. Эта странная Варвара; вихрастый парень в голубой рубашке; пожилой человек с недовольным видом; Паша, скучающий и небрежный. Но самое главное — Андрей, на которого я боялся смотреть, но который был совсем рядом. По большому счёту я не знал, что говорить, мне казалось только, что есть какие-то самые верные и сильные слова, которые могут вдруг найтись, и тогда все эти люди, и Андрей, чудесным образом мгновенно поймут всё, но эти слова застыли у меня в горле...

Наверно, мне хотелось сказать им, что их идеалы, которые они так яростно пропагандируют, не так уж и однозначны. А ещё, конечно же, о Кате и о том, что любовь есть единственное важное в мире. И что, если этого не понять и не перестать ненавидеть, либералов или ещё там кого-то, ничего хорошего не получится... Но, если честно, почти не запомнил то, что сказал на самом деле.

Кажется, начал с какой-то пафосной фразы, вроде бы даже вот с такой:

— Я пришёл сюда, чтобы говорить с вами о любви.

Позади тихо засмеялись, а Варвара удивлённо взглянула на меня, но я побоялся останавливаться и продолжал, пока меня не перебили:

— Вы всё правильно говорите — эти либералы, они ненавидят страну, их надо отстранять от власти... Вы правильно говорите, пора менять ситуацию. Но нельзя ничего такого масштабного сделать, если не любишь других. В прошлый раз, когда я у вас был, упоминала о том же... ты, — посмотрел я на Варвару и почувствовал, что мне надо сейчас назвать её по имени, но не знал, как — Варварой или Варей, на секунду смутился, и всё-таки не назвал никак.

— Да, вы в чём-то правы, правы, — продолжал через секунду, чувствуя, что сильнее задышаюсь и путаюсь. — Но ваша элита может только убивать тех, кто с ней не согласен, — выговорил прямо в сторону Паши, а он с растерянной улыбкой огляделся по сторонам, в поисках защиты от такого наглого обвинения.

— А кто хочет убивать? — недоумённо вставил он, и я выпалил в ответ:

— Вы, вы!

А потом слова вырвались из меня, и я уже не следил за собой, а просто говорил и говорил. Всё это выходило плохо и нелепо, совсем не так, как мне хотелось бы, но я уже не мог остановиться и рвался вперёд, не думая, — теперь уже было всё равно.

— У вас ничего не получится, потому что вы никого не любите... Вам плевать на других людей... А если вам плевать на других людей, то вы не элита, вы просто болтуны, которые много о себе думают...

Когда я закончил, то вдруг почувствовал, что дрожу всем телом и сильно сжимаю спинку впереди стоящего стула, а сидящий на нём человек обернулся и старается отодвинуться от меня, как можно дальше. Я отпрянул назад, опустил голову, а потом до конца собрания боялся встретиться с чьим-нибудь чужим взглядом. Я был уверен, что сделал ужасную глупость, и сейчас все смотрят на меня с осуждением и даже ненавистью. Но обсуждение потекло дальше, буднично и спокойно, и никто даже не вспомнил обо мне, и не возразил, будто я и не говорил ничего вовсе. И тогда я понял, что вся эта моя речь оказалась лишь одной из яростных реплик, которые так часто звучат здесь, и ничего необычного не произошло, и тогда мне отчего-то особенно стыдно стало за свой бессмысленный и сумбурный крик.

Когда же собрание закончилось, какое-то время все ещё сидели на своих местах и оживлённо переговаривались, а я боялся слишком резко подняться и поспешить к лестнице, чтобы они не вообразили, что я сконфужен своим выступлением. И лишь когда первые ребята двинулись к выходу, я встал и нерешительно обернулся к сидевшему рядом Андрею. Но к нему как раз в этот момент подошёл незнакомый человек, и я решил не стоять рядом с глупым видом и медленно, независимо шагнул к двери. Спустился на первый этаж и оказался в просторном фойе, где скопилась небольшая очередь к гардеробу, но в конец не встал, а остановился у большого стенда и смущённо топтался с ноги на ногу.

Мимо двигались люди. Тот полный человек в свитере, который сидел неподалёку от меня, воодушевлённо взмахивал руками, говоря с женщиной лет пятидесяти:

— Я был там, прямо на этих баррикадах, видел их величественные шахтёрские лица. Представьте себе, донецкая администрация, всюду покрывки, и они стоят. Это просто поэзия! Летом собираюсь опять, сумасшедшая там энергетика...

Прошла рядом Варвара и даже, кажется, бросила на меня короткий ледяной взгляд. И тогда я вдруг представил себе, что никто здесь не помнит моих порывистых слов, и только она, уязвлённая до глубины души, ещё копит в себе возмущение и даже приблизиться ко мне считает недопустимым — но тут же прогнал эти нелепые мысли, вызванные лишь собственной неловкостью.

Задержался возле меня только Паша. Он подошёл с лёгкой улыбкой и по-дружески похлопал по плечу.

— И всё-таки ты не прав, этих либералов нельзя жалеть, — выговорил весело и беззаботно, как бы продолжая недавно прерванный разговор, — они же развалили твою страну, выпили из неё все соки, и сейчас пьют. Это твоя главная ошибка, — и, довольно усмехнувшись, сделал характерный жест рукой, как бы приглашая меня встать перед собой в конец очереди.

Я обрывисто кивнул и подчинился его приглашению. В этот момент подошёл Андрей и остановился рядом.

— До метро? — тихо спросил он.

— Да, — ответил я.

Мы вышли в тёплый и ещё совсем светлый город. Было тихо, я чувствовал себя очень усталым. Чуть поодаль, возле низенького решётчатого забора, курили несколько ребят, и мы буднично стали прощаться с ними — сначала Андрей, потом я. На душе было тревожно от мыслей о том, как мы сейчас пойдём до метро, о чём будем говорить. Но в тот же момент рядом с нами оказался Паша, и мы двинулись к арке, ведущей к выходу из двора, втроем. И тогда я сообразил, что ведь и не могло быть иначе — они же с Андреем живут сейчас вместе, конечно же, и с собраний они не могут возвращаться по отдельности.

Вошли в тёмную арку, а потом город распахнул перед нами свою тихую улочку. Паша что-то говорил, но я не слушал. Сели в полупустой трамвай.



Они опустились на ближайшее двояное место, а я остался стоять рядом, подчиняя своё расслабленное тело его неторопливому болтанию. Зачем же я приходил сюда, подумал ещё. Узнал, что Андрей не с Варварой, а разве это не было понятно и так? Сказал что-то важное Андрею — нет, и не уверен, что он понял мои сумбурные мысли...

Подъехали к Войковской, а когда сошли на тёплый, залитый весенним солнцем асфальт, я попрощался с ними и вспомнил, как месяц назад так же остался на этом маленьком пятачке между трамвайной остановкой и подземным переходом, а Катя с Андреем спустились в метро. А когда напоследок протянул Андрею руку, он чуть дольше, чем нужно, задержал на мне внимательный и немного виноватый взгляд.

Я стоял, потерянно глядя вокруг. Мимо текли те же люди, что и месяц назад, те же машины неслись по шоссе. И тот же огромный плакат “Крым, добро пожаловать домой!” висел у метро, прямо рядом с оживлённым Ленинградским шоссе. Только цвета российского флага, в который был окрашен полуостров, казались мне поблекшими — то ли потому? что теперь я представлял, как эту фразу произносит Паша, то ли грустно было за Андрея и Катю, то ли это была всего лишь придорожная пыль.

Ещё раз огляделся и медленно двинулся по лестнице к метро.

## 9

Уже потом, через несколько месяцев, когда мы с ним особенно сблизись и однажды остались вдвоём на целый вечер, Андрей рассказал мне, как прошли для него те дни без Кати и вообще рассказал о себе...

Самым сильным потрясением в его жизни была смерть отца.

Андрею исполнилось тогда одиннадцать лет. Он хорошо запомнил, как во дворе перед его домом в центре Кронштадта выстроились в ряд несколько людей в военной форме. Один из них поддерживал неподвижную бесслезную мать. Сзади толпились знакомые, соседи, друзья. Какая-то женщина подошла к нему сзади и надела капюшон на непокрытые волосы, но Андрей с силой снял его и нарочно открыл ворот куртки, чтобы холодный воздух падал не только на голову, но и в горло. Женщина не решилась подойти к нему снова, и только вздохнула, а потом всё время, пока длились похороны, продолжала смотреть грустным, обжигающим своей жалостью взглядом.

После похорон их дом погрузился в мертвенный сон. Мать почти всё время лежала на кровати в своей комнате и лишь иногда скрюченной старухой бродила по квартире, как будто решила никогда больше не возвращаться к прежней жизни в память об отце. Она потеряла свою взрослую силу — не готовила, ходила непричесанная, в старом полинялом халате. Андрею было жаль её до стыда, и когда он начинал думать об этом, ему хотелось убежать, ударить себя за этот стыд. В школе были каникулы, к друзьям во дворе он не ходил и сам впал в липкое отчаянье, похожее на непрерывную дремоту. А на третий день после похорон ему приснился отец, который грустно качал головой, глядя на него, но ничего не говорил. Андрей проснулся от сильной тревоги и вдруг понял, отчего был грустен отец — теперь он, Андрей, остался главным мужчиной в доме и должен отвечать за всё, что происходит, а он только распустил нюни и даже обвиняет мать. В отчаянье Андрей вскочил с кровати, бросился на кухню, налил воды в большую кастрюлю, чтобы приготовить суп, потом принялся с ожесточением резать овощи, а после обрушился мокрой половой тряпкой на запылённые полы, торопливо, стараясь нагнать эти три дня бездействия. Но когда наткнулся в коридоре на военные отцовские сапоги, стоявшие в обычном месте рядом с входной дверью, не смог прикоснуться к ним, чтобы убрать, сел на пол и зарыдал. На звук из комнаты выскочила заспанная мать, увидела ведро воды, тряпку, плачущего сына, и они оба заплакали, скорее, даже не от смерти отца, а от огромной чёрной несправедливости, вдруг разверзшейся перед ними...

От отца остались книги — одну из них, старую с потрёпанным переплётом, Андрей сохранил до конца школы на полке за учебниками. В книге было много о советской армии, о её чинах, о военных тактических построениях,

но для Андрея она была частью отца, его военного мира. Ещё у него в комнате остались большая красочная книга про барк “Крузенштерн”, на котором отец ходил в молодости, и учебники по советской истории. В школе Андрей не очень любил этот предмет, но отцовские книги не имели никакого отношения к школе. В них было главное — честное ощущение правды без примесей и компромиссов, от которого становилось спокойно на душе. Иногда ещё, долгими летними днями, Андрей уходил из города куда-нибудь далеко, за старое Кронштадтское кладбище, и подолгу сидел на берегу на кривых железных балках, сжимая кулаки и глядя в море, как будто именно туда, в чужие враждебные края, ушёл отец, чтобы продолжить свой бой.

Понемногу горечь утраты стала уходить из сердца, но об отце он всё равно вспоминал часто, каждый раз настойчиво стараясь найти внутри себя ответ — что бы тот сказал, как бы сейчас поступил. Андрею хотелось быть таким же твёрдым, но, воспитанный матерью, он был склонен к нерешительности, и, зная об этом, часто стыдился себя. В школе стремился быть сильным и всегда правым, но даже там, в кругу одноклассников, ощущал досадную неуверенность, которую пытался скрыть за резкостью слов и поступков. После школы хотел идти в суворовское, но уступил матери и подал документы в технический вуз.

Теперь Андрей и не мог толком вспомнить, как же прошли его институтские годы в маленьком городке неподалёку от Петербурга. Но нет сомнения, что за студенческими развлечениями, весёлыми компаниями, красивыми девушками он всё это время бессознательно искал своё. После института сокурсники его разъехались кто куда, а с девушкой, с которой он встречался последние два года, у них так и не сложилось — всё было поверхностно и глупо, словно люди и не должны стараться понять друг друга, а только удовлетворять потребности и иногда, как все, ходить куда-то тратить деньги. Андрей хотел остаться на кафедре, потому что считал, что это самый проверенный и ясный путь, но тут один из его школьных друзей предложил работу в Москве, и так настаивал, что Андрей неожиданно для себя согласился.

И вот здесь-то он оказался совсем чужим, как волк-одиночка. В метро он старался не смотреть на людей и всё время дороги проводил в настойчивом чтении каких-нибудь книг. В офисе было ещё менее уютно — коллеги казались непривычно холёными и неискренними. Он заговорил с ними однажды об истории, но им было совсем не интересно. А потом заметил, что все они стали относиться к нему насмешливо и даже школьный друг теперь избегал общения. Андрей прочитал тогда большое исследование о Сталине и Бери, и это отозвалось в душе. Он стал жадно искать литературу, но толковой было мало. Сходил на два митинга — коммунистов и ещё одной маргинальной партии, жадно вслушивался в вибрирующие невнятные слова, но ни один не удовлетворил его в полной мере. Пока однажды он не попал на один из митингов Сути, посвящённый седьмому ноябрю.

Они в то время уже несколько месяцев встречались с Катей, но всё протекало буднично и спокойно — не было чего-то особенного в их отношениях, и он сомневался, стоит ли их продолжать, но пока только обдумывал свои сомнения. Кроме того, у Кати были странности — она вела себя с ним, как озорной и глупый ребёнок, часто и совсем невпопад шалила, иногда это даже нравилось ему, но представлялось всё-таки несерьёзным. Впрочем, в Москве у него не было ни одного более-менее близкого человека, кроме неё, и Андрей не торопился расставаться. Он вообще не любил резких непродуманных решений, потому что плохо понимал, что ему подходит, а что нет. Катя тогда всё говорила: “Ну почему мы сидим дома, давай куда-нибудь сходим, разведемся”, и когда он нашёл в интернете, что сегодня вечером проходит такой вот митинг, оживилась, потому что любила всё необычное.

Было холодно, а когда они уже вышли из метро к Краснопресненской заставе, пошёл шквальный дождь. Митинг проходил здесь же — сцена располагалась спиной к ним, на неё был направлен свет крупного прожектора, а дальше, в глубину темноты, уходили ряды людей с красными флагами. И пока Андрей с Катей обходили собравшуюся толпу, пока стояли в очереди, чтобы пройти через рамы металлоискателей, лишь отзвуком доносились

до них чьи-то громкие, но обрывистые слова не со сцены даже, а из-под самой земли. А потом, когда встали с краю, там, где видны были лишь часть сцены да огромный экран, на котором сменяли друг друга картинки из советской хроники, случилось первое открытие, неприятно поразившее Андрея. Со сцены совсем молодой парень принялся читать стихи, сильно взмахивая руками, так что было видно даже издали. Это показалось Андрею ненужной самодеятельностью, он вопросительно взглянул на Катю, та только улыбнулась и пожала плечами: “А что, интересно!” “Кто меч скуёт? — Не знавший страха”, — провозгласил тем временем парень, и Андрей решил перетерпеть это, потому что стихи были на историческую тематику. Но потом вдруг сильнее откашливались колонки, и по всей площадке ударило: “И вновь продолжается бой!” И опять Андрей в растерянности взглянул на Катю, но та весело закачала головой в такт мелодии и стала, дурачась, пританцовывать на месте. И в этот раз Андрей решил согласиться, потому что это была советская песня, подходящая к праздничной дате.

А потом вездливо и требовательно вслушивался в речь каждого выступавшего. Удовлетворённо кивнул на слова молоденькой девушки: “у нас украли страну, украли и праздник”, хотя и отметил её неподготовленность и сбивчивость; запомнил пожилого человека, захлёбывающегося в словах, и вздохнул от того, что почти ничего не понял из того, что он говорил. Но всё это было в целом знакомо и обычно для подобного мероприятия. Фигуры памятника героям 1905 года равнодушно выглядывали из темноты, а над ними висели яркие блики фонарей, расплывавшиеся в дожде в пятиконечные звёзды, на которые трудно было смотреть прямо. В толпе медленно размахивали знамёнами, а часть собравшихся осторожно утекала сквозь рамки металлоискателей к метро.

И только последний оратор, по-видимому, самый главный из тех, кто выходил на сцену, расшевелил уже уставших людей. “Почему только нам в этот день запрещают гордиться тем, что мы открыли новые перспективы для человечества...” — кричал он во весь свой хриплый голос, а потом грянул: “Россия существует не для того, чтобы вписываться в мировые стандарты, Россия существует для того, чтобы их задавать!” и от внезапных аплодисментов затряслась площадь — Андрей одобрительно нахмурился и тоже два раза хлопнул в ладоши.

Они простояли с Катей до конца, и он даже хотел было подойти к кому-нибудь из тех, кто располагался ближе к сцене и, видимо, был хорошо осведомлён, что это за митинг и кого они здесь представляют, но потом всё-таки не решился и махнул рукой: “Ладно, пойдём, потом ещё прочитаю о них в интернете...” Но Катя вдруг заметила двух молодых участников с красными бантами на груди, парня и девушку, которые стояли у выхода и раздавали газеты уходящим людям. “Смотри, кажется, вот эти в курсе”, — сказала она и потянула Андрея за собой.

Андрей некоторое время упирался, но потом решительно двинулся за ней и, приблизившись к тем двоим, встал прямо перед ними, заслоняя поток людей и мешая раздавать. Те машинально протянули ему газету, обёрнутую в полиэтиленовый пакетик, на которой мгновенно брызнули крупные капли, но Андрей не протянул за ней руку.

— Вот этот человек, скажем так, ваш лидер, утверждал, что мы должны противодействовать десталинизации, — начал он требовательно и враждебно, как всегда получалось у него, когда он хотел говорить о важном, — я согласен с ним, например... но он же не говорит, как именно противодействовать, ведь должен же быть план... — и немного смутился от того, что запутался в словах.

Он не жалел, что задал вопрос так прямо, однако всё равно ждал в ответ знакомого для таких разговоров скучного выражения лица, отведения глаз и интонации, как с ребёнком, — ну, Сталин...

Но парень неожиданно громко рассмеялся и с удовольствием посмотрел на девушку. “Кажется, это наш человек, Варь?” — весело подмигнул он ей, а та привычно заговорила о политических и экономических проблемах страны, о мероприятиях, которые проводит их движение, дала свои координаты

и пообещала выслать материалы. А парень всё стоял и поглядывал с улыбкой. “Какой самодовольный”, — сказала потом про него Катя, она всегда плохо относилась к самым лучшим членам Сути. И даже про Варвару не удержалась во время последней ссоры и сказала полную чужь...

Пока Андрей шёл к метро в тот злополучный вечер, когда убежал из квартиры в Ховрино. Мысли о Кате и их глупом разговоре поминутно выводили его из равновесия — ну, почему, почему не могло так сложиться, что любимая девушка разделяла бы его взгляды, чтобы она была такой же идейной, как, например, Варвара. Но так всегда случается, как говорит Сергей Владленович, люди слабы... окно Овертона... но трудности должны закалить нас. Он подошёл к метро и, спускаясь вниз, отметил, что был тут не больше часа назад, и удивился, каким же длинным оказался сегодняшний день — сначала работа, потом встреча с Кургузовым, потом ссора с Катей и вот теперь — поездка на квартиру к Паше. Хорошо ещё, что Паша сегодня ночью уехал в Васильевское, не хотелось объяснять ему сейчас всё, было стыдно за Катю...

В первые недели после встречи на митинге жизнь Андрея вдруг стала напряжённой и интересной. Сначала он принялся изучать те материалы, которые ему прислали Паша и Варвара, в основном это были статьи лидера движения Кургузова, — читал их жадно и с яростным недоверием, желая найти ту ошибку, тот изъян, который позволил бы ему отбросить их, но неожиданно втянулся.

Этот человек писал, что идеал страны — Советский Союз, вот так вот прямо, без лишних оговорок и пояснений, и это нравилось Андрею. Он писал, что у нашей страны есть враги. Эта очевидная истина была сформулирована так же просто и внятно — враги развалили нашу великую страну, враги отняли у нас наши идеалы. Но главное, Кургузов писал о том, что Андрей всегда неосознанно ощущал внутри себя, — идёт война, идёт уже сейчас, каждую минуту, несмотря на кажущееся спокойствие привычной жизни. Враг наступает, и необходимо организовывать сопротивление. Кургузов говорил — нужно сформировать ядро, и это должно быть не ядро избранных, вход туда абсолютно свободен и может оплачиваться только одним — страстью и желанием спасти свою страну. В этом ядре не должно быть никакой иерархии, там будут действовать принципы братства, сварщик встанет рядом с профессором, и все объединятся во имя возвращения утраченного. И в этих словах была та честная правда, которую Андрей ощущал только в старых отцовских книгах.

Иногда он зачитывал отрывки из статей Кате и спрашивал, понравилось ли ей, интересно ли. Она отвечала, что да, интересно. Кажется, ей приятно была свежая струя, приятно было, что он так воодушевлённо начал чем-то заниматься, так что и она воодушевлялась в ответ. Те две-три недели были очень счастливым временем — они с Катей неожиданно перестали сидеть в квартире, стали каждый день ходить куда-то — на выставку, посвящённую войне, на исторический фильм, в Парк Победы. Он вдруг ощутил опору под ногами, осознанность в своих действиях, ему захотелось, чтобы они вместе вступили в движение, вместе занимались полезной деятельностью. А когда он провожал Катю до общежития её института и приходил домой, у него находились ещё силы, чтобы читать, часто до утра.

Здесь, в маленькой съёмной комнате на краю Москвы, Андрей пережил самые яркие чувства за свою жизнь — от яростного возбуждения до бессилия и безотчётной тоски. Ночи были беспросветные, тяжёлые. Ранним утром он распахивал окно, чтобы освежить голову, и вдыхал чёрный морозный воздух. Внизу лежали промышленные здания, бетонные балки, приземистые трубы. Мутнел краешек неба вдали. Он возвращался в комнату и опять наклонялся над газетными листами. Шансов на победу почти нет, писал Кургузов, скоро конец России, и сможем ли мы её спасти или нет, неизвестно, и эта мысль всё сильнее охватывала Андрея, и невозможно уже было веселиться и радоваться чему-либо, зная эту горькую правду. Он ложился в кровать, но не мог заснуть от тревожных мыслей.

Он стал ходить на еженедельные открытые собрания ячейки Северного административного округа, к которой принадлежали Паша и Варвара, и лучше разобрался, что же представляет собой организация Кургузова. Это была большая сеть — почти в каждом более-менее крупном городе России находилась ячейка, а в Москве — даже несколько, по одной в муниципальном округе. Формально руководитель каждой из них ежемесячно отчитывался перед Кургузовым о проделанной работе, но на деле все ячейки были предоставлены сами себе: организовывали свои мероприятия и пикеты, устраивали открытые обсуждения. В Сути не практиковали директив и приказов — просто примерно раз-два в месяц Кургузов записывал ролик, в котором описывал текущую ситуацию и те шаги, которые необходимо предпринять. А ещё раз в неделю выходила газета “Красный мир”, где содержались материалы, рекомендуемые для чтения и проработки, — то, что Кургузов называл политическим обучением. Впрочем, видимая аморфность и относительная свобода была обманчива — как жидким оловом движение спаивалось единым мировоззрением и повышенной ответственностью: когда нужно было выиграть интернет-голосование, скажем, за своего человека в Общественную палату какого-нибудь города или против переименования объекта, связанного с советским прошлым, две-три тысячи членов актива со всей страны и ещё несколько тысяч их друзей разом включались в дело и обеспечивали необходимый результат. И эта слаженность и эффективность вызывали у Андрея уважение, и, может, именно она и стала для него окончательным аргументом, чтобы взяться за дело и записаться, наконец, в актив.

Но, формально вступив в движение, он не почувствовал радости. Ему постоянно казалось, что он недостоин места в активе, что слишком мало знает, и что в решающий момент это скажется и тогда он может подвести всех. Андрей стал участвовать в собраниях ячейки, брался готовить доклады на ту или иную тему, пытался решать организационные вопросы, но всё получалось средне: не очень плохо, но и не очень хорошо — а оттого не было удовлетворения. Кроме того, в этом напряжении, в смутном ожидании грома, который вот-вот должен разломить страну, присутствие рядом Кати, близкого человека, за которого нужно было нести ответственность, подавляло его ещё сильнее. Случись что-нибудь, и он не сможет защитить её. А раз не сможет защитить, то и не должен привыкать, не должен связывать себя и давать необоснованные надежды ей. Он согласился жить вместе, въехать в квартиру в Ховрино, потому что они так запланировали в те их счастливые ноябрьские недели, но сам уже сомневался, правильно ли это...

Чтобы доехать до Пашиной квартиры в Чухлинке, Андрею нужно было сесть на электричку на Курском. Когда он вышел из метро, здание вокзала напомнило ему бестолковый муравейник. Несмотря на поздний час, у входа толпились люди — работали ещё бойкие тётушки на стойках с хот-догами и кофе, торговцы носками и прочей мелочью; усталые таксисты дежурили у стеклянных створок, покачиваясь и монотонно бубня в лицо прохожим; зябко ёжились местные мужики-бездомные, сидя на наваленных у вокзальной стены чёрных мусорных пакетах и пустых деревянных ящиках из-под овощей. Тут начиналась будничная и неустроенная жизнь целой страны, и казалось, проедешь хоть тысячу километров, а везде будет та же грязь и слякоть. И только налево к Садовому кольцу уходило неприлично яркое здание “Атриума”, но Андрею не хотелось смотреть ни на его ненавистную показную роскошь, ни на этих слабых и безвольных людей повсюду.

Он подошёл к свободной кассе, купил билет. Потом решительным шагом спустился в тоннель, ведущий к платформам, и отыскал свою электричку — та стояла на дальнем перроне, почти пустая. И пока ещё тянулось время до отправления, пока входили случайные одинокие пассажиры, садились поодаль, он смотрел сквозь заляпанное потёками стекло на серый асфальт, на бледные слепые фонари, закрытые киоски, мусор, разбросанный по перрону, и всё думал, ехать ли ему сейчас или, может, вернуться обратно. Но с другой стороны он ведь уже решил и должен оставаться твёрдым. Ведь как бы поступил в такой ситуации отец — ни за что не сломался бы,

не пошёл на поводу у глупых эмоций и, раз уж запланировал, то довёл бы дело до конца...

Когда произошёл февральский переворот в Киеве, Андрей несколько дней ходил в состоянии сильного и даже немного приятного оживления. Ему казалось — вот оно, пришло время для настоящих действий, теперь-то они покажут, чего стоят, и хотелось немедленно ехать в Крым, бороться там против фашистов и помогать сопротивляться незаконной Киевской власти. А когда на следующей же неделе Кургузов экстренно решил собрать их в Васильевском на внеочередную “весеннюю школу”, Андрей поехал, ни секунды не сомневаясь, не слушая Катиных возражений. Там было всё именно так, как он мечтал — множество единомышленников съехались со всей России, жили в спартанских условиях, обсуждали важные проблемы, тренировались, слушали лекции Кургузова и его сторонников.

Здесь Андрей первый раз увидел Кургузова — тот постоянно находился среди них, ел вместе с ними в походной столовой, и ему даже можно было задать вопрос, но Андрей не решился — это было бы нарушением субординации. Но именно здесь он, кажется, окончательно поверил Кургузову. Да, у того были недостатки: повышенная эмоциональность, резкость, но нельзя же было руководить огромным движением без резкости. Зато в нём было главное — непримиримость к врагам страны и твёрдость в своих идеалах. И если бы не эта эмоциональность, он был бы даже чем-то похож на отца. Андрей вернулся из Васильевского, напитанный кургузовской мощью. А здесь опять нашёл то же болото — опостылевшую работу, мещанские разговоры в офисе, равнодушных людей, которым только бы поесть и развлечься, совершенно негодных для защиты Родины. А дома — Катини истерики, нелепые празднования, прожигание времени и сил. И сколько он пытался преодолеть её косность, столько убеждал Катю, приводил все возможные аргументы до тех пор, пока не нашёл в себе силы разорвать этот порочный круг...

Паша жил в крошечной квартире прямо рядом со станцией. Андрей вошёл в тёмный коридор и включил свет. У стены сложены были лыжи, ролики, громоздкий сноуборд, почти у входа в комнату, перегораживая дверь в ванную, стоял перевёрнутый вверх колёсами велосипед. Паша любил заниматься спортом, он говорил, что это придаёт ему силы для жизни и политической борьбы.

Мебели у него почти не было — в прихожей тонкая вешалка, похожая на спицу, на которой висело две куртки, а на кухне — старенький гарнитур, холодильник и стол, засыпанный хлебными крошками. В раковине лежали кастрюля, тарелка и чашка и несколько ложек, и больше никакой посуды во всей квартире. Андрей любил оставаться у Паши, потому что здесь всё было устроено так, как и должно быть, с одной стороны — без излишеств, а с другой — без всегдашнего беспорядка, раздражавшего его в квартире в Ховрино. И если бы он стал сейчас жить один, то хотел бы создать именно такую атмосферу напряжённой работы и презрения к своим удобствам. Эта мысль о возможности будущей жизни неожиданно увлекла его — Андрей включил чайник, сполоснул чашку, насыпал в неё две ложки растворимого кофе и достал из сумки ноутбук. А потом с удовольствием подумал, что чем бы там ни закончилась история с Катей, у него в любом случае есть время, хотя бы эта предстоящая ночь — сегодня он сможет наконец-то побыть один и заняться делом, и никто и ничто не помешает ему. И сколько всего можно было сделать за одну только ночь...

Он уже давно не занимался информационной войной — это первое, к чему необходимо было приступить сейчас. Каждый активист Сути брал на себя обязательство от десяти до двадцати часов в неделю посвящать написанию политических заметок для своего блога. А прежде чем писать новую статью, необходимо было ответить на все комментарии к предыдущей; а желательнее ещё — посмотреть последние статьи друзей по Сути и помочь им, если ситуация там складывалась неблагоприятным образом. В первые месяцы Андрей занимался этим с большим воодушевлением — больше всех писал комментарии к блогам соратников и довольно часто спасал их от атак либеральных троллей: ребята из ячейки были благодарны, а Варвара часто

отмечала его и хвалила при всех. Но уж конечно, Андрей работал не за похвалы, а потому что каждый в организации должен был, на его взгляд, помогать каждому — без этого ощущения братства не могло сложиться сильного движения. Даже Паша писал комментарии реже, чем Андрей. Хотя, с другой стороны, Паше превосходно удавались собственные статьи, сразу было видно, что он человек начитанный и подкованный — таких статей Андрей бы в жизни не сочинил! — и даже либералы почти не нападали на них, наверно, потому что не могли найти там ни одного изъяна.

Впрочем, проходило время, и написание статей и комментариев из приятного дела превратилось в необходимость, за исполнение которой уже никто не хвалил, а только ждал от тебя этого и каждый раз — даже большего. К тому же из-за всех этих проблем с Катей ему всё меньше и меньше времени удавалось уделять ячейке. А даже когда время находилось, Катя постоянно стояла за спиной, не давая сосредоточиться на деле, — и даже сейчас он чувствовал это, хотя Кати вроде как и не было рядом.

Катя часто говорила, что у него мало способностей к информационной войне, что он не понимает людей, с которыми общается в комментариях, и надо каждому писать в зависимости от его характера, чтобы тот принял твою точку зрения, — она хотела, чтобы он переживал не о своих товарищах, на которых нападали либеральные тролли, а о самих этих троллях, чтобы вникал в их сообщения, пытался понять их. Может, она была и права, но это отнимало у Андрея столько времени! Он никак не мог понять эту науку, по несколько раз переписывал одну и ту же фразу. Вот и сейчас, сидел, напряжённо вглядываясь в экран, но не мог придумать ничего путного. Текли минуты, и Андрею было жаль их — столько надежд возлагалось на эту ночь, и вот она постепенно уходила от него. Может, если бы он сейчас всё сделал, то уже завтра вернулся бы в Ховрино, но перед этим нужно было стать сильным, уверенным, спокойным и больше не чувствовать себя “тряпкой”. Стоило переключиться на другое, но он не мог — не ответственные комментарии грузом лежали на душе, и нельзя было идти дальше, не разделавшись с предыдущим...

Андрей поднялся, в очередной раз согрел чайник, налил кипяток в чашку и сделал короткий глоток, чтобы не обжечься. Мысли плясали в голове. Тогда он взял ноутбук, медленно вернулся в прихожую, прошёл по коридору и остановился перед дверью в Пашину комнату. Андрей редко заходил сюда — когда оставался у Паши, то обычно ночевал в спальнике на кухне, но теперь ему особенно хотелось оказаться здесь, напиться нужной атмосферой, которая в комнате Паши чувствовалась особенно сильно. Он открыл скрипучую дверцу, и жёлтый матовый свет проник внутрь. Слева лежал надувной матрас, на котором Паша спал; впереди между гардиной и полом была натянута матерчатая конструкция, служившая платяным шкафом. На стенах висели картины, сделанные крупными мазками или длинными неровными линиями, как обычно рисуют дети. На самой большой был изображён огромный огонь, почти во весь лист, с красными и оранжевыми языками на чёрном фоне. А на полу в беспорядке — спортивные гири, штанга, вещи, шелуха от семечек, компьютерные провода, а главное — книги, сложенные в покосившиеся стопки, раскрытые, перевернутые страницами вниз, прислонённые к стенам. Здесь были и большие красные, написанные Кургузовым, которые у них с Катей стояли парадным строем на полках; и старые, ещё советских изданий, художественные и научные, перемешанные друг с другом. Андрей поднял одну наугад — ею оказалась “Как закалялась сталь”, вся в грубых неразборчивых пометках. Он вздохнул, осторожно положил книгу обратно и, не включая свет, опустил ее на чужь судый размякший под его весом матрас и вновь распахнул ноутбук.

Но нет, в этой пустынной, как пещера, комнате, в которой во всём чувствовалось презрение к человеческим слабостям и желание посвятить себя ячейке, Андрею не работалось лучше, наоборот — он только сильнее злился на себя за медленность и за невозможность заставить себя думать в правильном направлении... Откинулся назад, на матрас, ощутив спиной его неприятную мягкость. Может, он просто сильно устал сегодня, и стоило просто

лечь спать. Но уснуть не мог — свет фонаря из окна падал на картину с огнём, который в сумерках казался ему серым, не давал покоя, как будто и сам Андрей находился в центре пламени. Он вскочил, встал посреди комнаты, и вдруг такая злость прорвалась в нём на Катю: всё из-за того, что она не может принять простую систему ценностей, разобраться для себя, что правда, а что нет, и из-за этого — столько проблем, столько сил, как в бездонную бочку...

А потом наступили два длинных, тягучих дня. Что он делал в течение этих двух драгоценных дней — Андрей и сам толком не запомнил. Долго выбирал хлебопечку для матери, у той был день рождения через две недели. Обычно Катя помогала ему в любых покупках, она почти не раздумывала над выбором, всё получалось у неё быстро и просто, а ему нужно было учесть все параметры, перепроверить по несколько раз, а это всегда давалось с трудом. Ничем полезным, связанным с ячейкой, так и не занялся, только один раз, когда готовил обед, включил аудиодорожку с последней лекцией Кургузова. Много спал, много переживал своё безделье.

И вот утром третьего дня сквозь сон Андрей услышал громкое весёлое насвистывание, а потом шорох закрывающейся двери. Он с трудом поднялся и сел, всё ещё окутанный в спальник, — у входной двери стоял Паша с лёгкой спортивной сумкой на плече.

— О, чего это ты тут, собрание вчера было? — беззаботно усмехнулся тот и, не дожидаясь ответа, принялся снимать куртку и вытряхивать из сумки вещи.

Андрея сильно клонило в сон, но он решил, что опять лечь будет неправильно, с трудом поднялся, протирая заспанные глаза, расслабленный и разбитый. Паша тем временем отнёс часть вещей в ванную, сходил в комнату, потом вернулся на кухню, поставил воду на плиту, всё ещё продолжая насвистывать, — он был только что с поезда, но выглядел таким свежим и весёлым, будто это он, а не Андрей просидел в квартире последние два дня.

Надо было объясниться с Пашей, извиниться, что ночевал у него без спросу, а значит — рассказать о Кате.

— Я у тебя проживу немного? — начал нерешительно.

— А, да живи без проблем, места хватит, — махнул рукой тот, лихо встал на руки, продержался так несколько секунд, а потом принялся резко и быстро отжиматься от пола, довольно выдыхая на каждый раз. Андрей растерянно наблюдал за ним, подбирая слова, но так и не сказал ничего большого.

— В Васильевском опять проблемы, рабочие руки нужны, — деловито заметил Паша, когда закончил отжиматься. — Стройка идёт медленно, но к ноябрю должны закончить. Владленыч тоже приезжал... вчера днём собрал нас и говорил, именно на осеннюю школу возлагает особые надежды. И я решил — поеду на следующие выходные опять, — добавил он как бы между делом. — Владленыч говорит, нужны люди... Может, ты тоже?

— Посмотрим, не могу обещать, — ответил Андрей резко и недовольно, и это внезапное недовольство не понравилось ему самому.

Оставалось уже меньше часа до выхода на работу — через несколько минут должен был зазвонить заведённый с вечера будильник, и уже не имело смысла ложиться опять — Андрей медленно побрёл на кухню, заварил себе крепкий кофе и сел за стол, наклонив тяжёлую голову на сжатую в кулак ладонь. Даже здесь было слышно, как Паша моется в душе и с удовольствием фыркает, а оттого собственная слабость и неприкаянность ощущались ещё острее. Что же я сделал за эти два дня, ничего, с привычной тоской рассуждал он, и что же теперь, какой вывод следует из всего этого. Нет, я не совершил предательства, я ни на секунду ни единой мыслью не изменил своим идеалам, но у меня мало сил, я слаб, я полное ничтожество. Значит, надо честно признать, что проблема не в Кате, а во мне самом.

Он поднялся от волнения. Это было самое худшее из того, что могло прийти ему в голову. И все эти два дня он старался не думать об этом очевидном выводе, оправдывал своё бездействие то усталостью, то необходимостью восстановить силы после ссоры. А правда была в том, что он слаб и не



готов даже к небольшим делам, в том, что он не способен стать “сверх-я”, как часто говорит Паша. В первую минуту он всё не мог примириться с этим неожиданным выводом, яростно схватил ноутбук в желании немедленно сделать всё, сразу же написать все комментарии, но взгляд упал на часы: пора было ехать на работу...

Он вышел на улицу, и апрельское утро сковало тело. Горбясь и сжимая себя руками от холода, он двинулся вперёд, а маленькие пятиэтажки сгрудились на пути, путая, не желая отпускать. Всё вокруг было чужим, враждебным, и тогда с неожиданной теплотой Андрей вспомнил о Кате, оставшейся там, в яркой и сумбурной жизни, которая представлялась теперь уютной и родной. Поддел носком ботинка пустую жестяную банку, и та гулко загремела по асфальту. Впереди маячили серые будочки касс, а справа к ним ещё бежало несколько человек, неуклюже взмахивая сумками и портфелями. Андрей подошёл к автомату, продающему билеты, принялся вытаскивать из кармана мелочь и опускать её внутрь. В автомате быстро и глухо защёлкало, и этот раздражающий звук расковыривал что-то внутри.

А на платформе накрыло упругим дыханием приближающейся электрички. Распахнулись двери, и Андрей втиснулся в полный вагон, задышавшийся от сжатых в нём тел и спёртого воздуха.

## 10

Через день после собрания ячееки мы с Катей отправились гулять в Кусково. Она очень любила это место, я помнил это ещё с тех пор, как мы встречались и ездили сюда смотреть павлинов, которых специально разводили здесь. Был выходной день, но у нас на фирме заставляли выходить на работу — горел большой проект. И всё-таки я отпросился, мне не хотелось оставлять Катю наедине с тяжёлыми мыслями, хотелось порадовать, отвлечь. Мы больше не говорили об Андрее: только вечером после ячейки я сказал ей, что, по-моему, между ним и Варварой ничего нет, а она только кивнула и даже не спросила больше ни о чём.

Было прохладно. На узких аллеях парка работники в оранжевых формах тоненькими жестяными веничками мели песок; маленькие контейнеры, в которых обычно продают мороженое, одиноко стояли то тут, то там, обтянутые серой клеёнкой; никого не было в притаившейся на краю парка кафешке, а на столах острыми ножками вверх громоздились стулья — казалось, мы пришли сюда тайно.

— Помнишь, первое время в Москве я очень скучала по родителям, — говорила мне Катя, — именно по родителям, а не по дому. А в этот Новый год поехала туда одна, Андрей почему-то не смог... поезд был в ночь на тридцать первое. Не знаю, рассказывала тебе или нет, вроде бы не рассказывала, я шла от вокзала, было ещё темно, и вижу — здесь построили новый мост, а здесь сожгли деревянные дома, у нас постоянно жгут деревянные дома, представляешь? И столько было вокруг чужого, но я всё-таки шла и думала, это мой город, и я его помню и очень люблю. И я хотела бы всегда жить здесь. И дело даже не в родителях, дело в том, что это именно моё. Как думаешь, Андрей, наверно, не захочет переезжать из Москвы, да? — и опять погрузилась, и, конечно, не потому что Андрей не захочет, а потому что глупо было сейчас даже говорить об этом, пока они даже не помирились и не понятно, помирятся ли вообще.

Мы гуляли наобум, и беседку с павлинами не смогли найти. Неожиданно вышли к большому озеру, перед которым тянулась лужайка, густо заросшая жёлтыми точками одуванчиков. Катя сняла туфли и шагнула босиком на траву. Потом опустилаась, хотела сорвать один одуванчик, взяла стебелёк между пальцев, но не решилась его надломить.

— А помнишь, мы с тобой ходили вместе в церковь на первом курсе? — вспомнила она. — Ты тогда говорил — надо верить, и всё случится... и я думала, что это самое главное. И я верила, что вот мы с Андреем поженимся, и сразу произойдёт чудо, и всё изменится. Но знаешь, — добавила она серьёзно, — теперь, когда было так плохо, я поняла... главное,

это когда после самого мерзкого и отчаянного настроения вдруг просыпаться и так светло, и чувствуешь как будто Бог рядом, и ты точно уверен, что это он. После этого просто нельзя не поверить!

Я смотрел на неё и удивлялся — откуда это в ней. Она выросла в обычном районном городке, ходила в школу, поступила в институт, но это стремление испытать мир и найти в нём главное, различить, что правдиво, а что нет, а потом прилепиться к этому правдивому, — было в ней всегда: и вовсе не я внушил ей это стремление, она будто родилась с ним. Но может, всё это лишь привиделось мне, потому что она была дорога мне, эта маленькая Катенька, в которую я раньше был так сильно влюблён, да и сейчас любил — но не как девушку и даже не как сестру, а как любят лучшее в человеке, его сердцевину — и потому и видел я в ней только лучшее и не замечал чего-то пустого, что, может быть, тоже было. Но разве в пустых и мелких своих качествах заключается человек...

Я думал об этом, пока мы шли вдоль аллеи Кусковского парка, вдоль каменных зданий, покрытых пылью старины, говорящих нам о том, что пройдут десятилетия, и всё, о чём мы сейчас переживаем, уйдёт, и о другом будут переживать люди, и считают, что нет ничего важнее их проблем. Но почему-то казалось мне, что останутся в этом воздухе её, Катины, слова, и останется её уверенность, и её красота — и будут вечно, и ничто уже не сможет стереть из памяти мира ни одного доброго её слова, ни одной улыбки, ни одного движения души — и этого достаточно будет, чтобы мир стоял ещё.

— О чём думаешь? — спросила она, и я улыбнулся, представив, как же нелепо получилось, если бы я принялся обо всём этом рассказывать сейчас Кате.

— Что тебя волнует? Ты такой задумчивый сегодня, — ей хотелось отплатить мне за то, что я слушаю её, помочь и мне.

— Может, они в чём-то правы, эти люди из ячейки, — зачем-то сказал я.

— Да? Ты так считаешь? — оживилась она.

— Я не знаю, Катя.

Мы поднялись и двинулись вдоль пруда, больше уже не говоря ничего. Медленно приближался раскинувшийся впереди лес. И вдруг резко, пронзительно зазвонил мой телефон — Катя взволнованно обернулась.

Сегодня утром перед выходом из дома она попросила Рому обязательно позвонить нам, если Андрей вдруг появится: в Ховрино у него оставались материалы к завтрашнему шквету Сути, и Катя помнила об этом. У меня даже была мысль, что она специально поехала со мной в Кусково, не в силах сидеть сегодня целый день дома в изматывающем ожидании его приезда. И действительно, на экране сейчас был Ромин номер.

— Я, конечно, был против, — недовольно заговорил он, — но раз уж обещал, то сообщаю — Андрей пришёл.

Не знаю, то ли слова в трубке были такими громкими, что Катя их услышала, то ли просто догадалась, но мгновенно вскочила и выхватила телефон из моих рук:

— Рома, Рома, скажи, пожалуйста, он что-нибудь говорил?

Я понял, что ей важно, спрашивал ли Андрей про неё, потому что позавчера её очень обидело, что Андрей ни словом не обмолвился со мной о ней после собрания ячейки. Кажется, Рома ответил, что спрашивал, потому что Катя радостно и сильно глотнула воздух.

— Рома, Рома, слушай, — заторопилась она, — дай ему трубку, пожалуйста...

Было слышно, как в маленьком мобильном телефоне скрипнула дверь, раздались шаги, резкие шорохи, будто били в испорченный детский барабан. Потом где-то совсем вдалеке язвительно вежливый голос Ромы: "Андрей, тут тебя просят", неразборчивый глухой вопрос, тишина. Я не стал ждать начала их разговора и отошёл на несколько шагов, чтобы не смущать Катю. Но она не обращала внимания ни на меня, ни на кого вокруг — согнулась, вжала голову в плечи, прижимая телефон к уху, а к другому прислоняя распластанную ладонь.

Потом она заговорила:

— Да, привет... и как ты планируешь... я гуляю пока, мне долго ехать... Тогда давай на станции... да, можно и так, хорошо... — и если бы я не знал, что между ними происходит, я бы никогда не догадался, что это их первый разговор после расставания — её слова звучали так буднично, не специально, просто от сильного волнения она не могла найти другого тона.

Вдоль озера ко входу в парк шла длинная аллея, а если повернуться в другую сторону, то впереди начинался лес, от которого нас отделял лишь маленький мостик. Я медленно поднялся на него и рассеянно оперся на перила — вода внизу была мутная, старые листья и пух мерно плавали на поверхности, и в этом перебитом зеркале отражалось колеблющееся небо, а в нём крупные вспучивающиеся облака.

Катя отняла трубку от уха и взглянула на меня, всё ещё напряжённая, и я торопливо вернулся к ней.

— Договорились встретиться через час на Чухлинке, — сказала спокойно.

— Тут рядом, одна станция на электричке, — ответил я, но она знала это.

Я хотел спросить ещё, что и как, но говорить об этом сейчас было невозможно. На душе было тоскливо, словно бы я отправлял в долгую дорогу единственного ребёнка. Что-то восстановилось между ними в этом коротком разговоре, и теперь они уже были вместе, это было уже их совместными планами, и Катя не должна была больше сличать со мной каждое слово, сказанное ими друг другу. Мы стояли с ней теперь как на противоположных платформах, разделённые линиями рельсов, и я был бессилён влиять на неё, а значит, уже не мог быть уверенным, что всё у неё будет хорошо и что, подчинившись сейчас Андрею, она останется той самой лучшей Катенькой, которую я всегда знал и любил. Но с другой стороны — должно же было это произойти, и должен же я был когда-нибудь отпустить её...

— Паши сегодня нет, я, наверно, останусь с Андреем в его квартире... он уже запланировал туда вернуться сегодня, у него там документы для работы, — запоздало принялась объяснять мне она.

Но я уже не вникал и просто кивнул. Иногда мы ещё переговаривались о чём-то незначительном, но оба уже чувствовали необходимость просто убить время. Я деловито смотрел расписание электричек в телефоне, они списывались, на какую точно садиться Кате, чтобы Андрей встретил её на платформе. А потом молча шли по асфальтовой дороге через лес. Было неожиданно тихо, никто не ходил и не ездил здесь, и только ровный шум листьев окружал нас. Вдруг Катя будто пробудилась, обернулась ко мне и заговорила порывисто:

— Знаешь, я читала вчера, что у каких-то старцев есть пророчество о России. Там предсказана и революция, и разрушения церквей. А ещё говорится, что потом Россия возродится и будет великой страной. И про семь светильников... ты знал?

Я покачал головой. Я понимал её чувства сейчас — там, в юности, кажется, что есть некая система знаний о мире, и ты постепенно познаёшь эту систему, и что другие тоже познают или уже познали то же самое. Но, только взрослея, начинаешь понимать, что единого представления о мире не существует, и уже не набрасываешься на всё новое с такой жадностью.

— Нет, но хорошо, если так, — ответил я.

И дальше опять пошли в тишине, думая о своём, но иногда ещё вспоминая об этих загадочных светильниках, и теперь казалось, это действительно серьёзно и важно, и Бог на самом деле даст нам какие-то светильники, и тогда и Катя с Андреем будут вместе, и во всём мире всё станет хорошо.

Я проводил Катю до платформы, а когда подошла электричка, она встала на подножку — двери захлопнулись, и она всё махала, и я видел её взволнованное лицо сквозь мутное стекло, пересечённое царапинами диковинного зверя. Я медленно пошёл вместе с поездом по направлению к длинной лестнице на мост, через который можно было бы перейти на противоположную сторону от парка, откуда было ближе до метро. Поднялся

по ступеням и остановился, глядя вдаль: там сплетались и расплетались железнодорожные пути, а вдалеке ещё виднелся почти уже стянувшийся в точку хвост электрички.

Она уже подошла к следующей станции, и Андрей с Катей встретились и, если только не произошло чего-то непредвиденного, они уже обнялись и стоят, ощущая теплоту друг друга. Только бы кто-нибудь не начал говорить что-то неподходящее, подумал я, опираясь на перила и напряжённо вглядываясь вперёд, надеясь чудесным образом увидеть их сквозь расстояние между станциями. Всего-то им нужно — почувствовать друг друга, без слов, без мыслей, просто разом понять, что они нужны друг другу, что друг без друга они не могут сейчас...

Я вдохнул пропитанный тоской весенний воздух и шагнул вперёд по мосту. Над постройками поднимался дым. Вдалеке клонилось к закату солнце. На другой стороне железной дороги умиротворённо лежал Кусковский парк. И только в самом низу, у последних лестничных ступеней притаился скрученный, как от боли, куст шиповника. Я ещё немного постоял возле него и двинулся дальше по тропинке, ведущей к метро.

Был вечер второго мая 2014 года.

*(Окончание следует)*